

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Михаил ЛОБАНОВ

ОБОЛГАННАЯ ИМПЕРИЯ

«На территории СССР экономически оправдано
проживание 15 млн. человек».

М. Тэтчер

«Знание о социальном неравенстве есть знание
высокое, холодное и гневное».

А. Блок

«Любовь к истине, любовь к своему народу и
земле делают борьбу обязательною...

Или мы уже разуверились в том, что России
много дано и предназначено?»

И. Аксаков

Старая гвардия

Михаил Лобанов
Оболганная империя

«Алгоритм»

2008

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

Лобанов М. П.

Оболганная империя / М. П. Лобанов — «Алгоритм»,
2008 — (Старая гвардия)

ISBN 978-5-9265-0535-8

Без малого два десятка лет продолжают реформы в России, которые пока ни к чему хорошему не привели, проблем не поубавили. И нет надежды, что все закончится благополучно и страна вздохнет с облегчением. В самом деле: на оплевывании прошлого не построить светлого будущего. Таких примеров история не знает. А между тем, в советской эпохе были Блок, Есенин, Маяковский, Шолохов, Платонов, Леонов... А теперешняя «демократическая эпоха» — что дала? Михаил Лобанов, выдающийся писатель нашего времени, автор замечательных книг об А.Н. Островском и С.Т. Аксакове, документального сборника «Сталин», из поколения победителей. По словам Александра Проханова, «это они прошли войну, они восстанавливали державу, они творцы советского величия, и сейчас они несут отсвет этого столь необходимого нам в будущем величия». В далеком 1982-ом знаменитая статья Лобанова «Освобождение» наделала много шума, не дала спать спокойно космополитам от Политбюро ЦК КПСС. И новая его книга «Оболганная империя» — о непрекращающейся борьбе за Россию, за ее настоящее и будущее, где поле битвы — сердца миллионов.

УДК 323(470+571)
ББК 66.3(2Рос)

ISBN 978-5-9265-0535-8

© Лобанов М. П., 2008

© Алгоритм, 2008

Содержание

От автора	7
Просвещенное мещанство	8
Освобождение	16
Твердыня духа[1]	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Михаил Лобанов

Оболганная империя

© Лобанов М.П., 2008

© ООО «Алгоритм-Книга», 2008

От автора

Из этой книги читатель может узнать, что до сих пор не прекращаются в литературной печати нападки на мою статью «Просвещенное мещанство», появившуюся сорок лет тому назад в журнале «Молодая гвардия» (1968, № 4). А в своих мемуарах «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын, цитируя отдельные места из названной статьи, выводит из термина «просвещенное мещанство» свою «образованщину», кроме того, сомнительно зачисляет меня в разряд потенциальных жертв ГУЛАГа. Всякой революции предшествуют в обществе сдвиги, коллизии духовные. Так воистину перманентная «перестройка-революция», сокрушившая наше великое государство, терзающая нынешнюю Эрефию-Россию, вобрала в себя вирусы хрущевской «оттепели», из «детей XX съезда» вылупились Горбачевы – ельцины. В середине 60-х годов очевидно определились полярные силы – либерально-космополитические и национально-патриотические, вступившие между собой в идеологическую войну. И речь в моей статье «Просвещенное мещанство» шла о внедрении космополитами в массовое сознание духовных миазмов «нигилятины» (Достоевский), одержимости низвести все высокое, великое до уровня моды, пошлости, превратить человеческую индивидуальность в стереотип буржуа-мещанина. Речь шла об опасности всенивелирующего американизма («Рано или поздно, – говорилось в моей статье, – смертельно столкнутся между собой две непримиримые силы – нравственная самобытность и американизм духа»). О другой моей статье (написанной по поводу романа М. Алексеева – о голоде в Поволжье в 1933 году) было принято осуждающее решение ЦК КПСС (дек. 1982).

И вот то, что в 60-х годах в «Просвещенном мещанстве» было только симптомом буржуазно-мещанского вырождения «образованного человека», ныне восторжествовало разнузданностью культа наживы, кровавыми разборками в захвате общенародной собственности, волчьей идеологией с правом сильного уничтожать слабого обездоленного, аморализма.

И то, что в упомянутом решении ЦК КПСС «освещалось» лозунгами марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, ныне обернулось невиданным цинизмом оборотничества, предательства.

Трагедия России – в нашем неведении, непонимании того, что происходит в стране. Поэтому у наших врагов развязаны руки – душить нас, громить страну.

Великий русский патриот Иван Сергеевич Аксаков в своей статье «В чем недостаточность русского патриотизма» пишет: «время и обстоятельство требуют от нашего патриотизма иного качества, нежели в прежние годы народных бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. – М.Л.), но и головой», то есть пониманием происходящего; воевать «не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосознаваемых недрогов». Поймем ли мы это наконец.

Просвещенное мещанство

Расскажу пустячный случай. Как-то присел я на скамейку пробежать газету во дворе нашего огромного московского дома. Вдруг откуда-то сверху: что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой. Гляжу – неподалеку скамейка, сидят женщины. Кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит – и все ногами работают, в такт грянувшей из окна музыки. Сначала смешно показалось – не видят сами, как все одновременно притопывают. А потом стало жутковато – что-то стадное было в этом слепом притопывании. Это пожилые-то так заработали. А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...

Есть над чем задуматься: в душе иного молодого человека еще никакой опорной точки, а его со всех сторон облепляют – и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство, и телевизионная суета, и нечто эстрадно-зазывное, и какая-то павильонная беготня кинофильмов. От всего этого пестрит в глазах, дразнят простенькие желанья.

К тому же могут быть разные сюрпризы. Вот, например, где-то на вечеринке под бутылочное настроение прокручивалась песенка о троллейбусе, подбирающем ночью «потерпевших крушение». Гитарно-гуманная песенка. А вскоре, скажем, тот, кто слушал ее на вечеринке, наталкивается в газете на такую заметку:

«Вы написали, что фильм «был встречен прохладно и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах...»

Что же касается «прохладного приема», то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.

Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного «прохладного»...

Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.

Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами. Примите уверения и проч.

Булат Окуджава.

(Газета «Труд» от 1 декабря 1967 г.)

Вся эта «лирика» вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм «Женя, Женечка и Катюша» (одним из авторов сценария которого является Окуджава) «прохладно» встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-яй, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца – ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...

Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает, не отставая от века. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке – пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т. д.

Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: «Много ли железа и какие металлы в солнце

и звездах – это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, – это трудно, ужасно трудно».

Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеить особым словом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо – «руссоизм», Толстой – «фатализм», Есенин – «есенинщина» и т. д.

У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – все мини. И Родина для них – мини. И дружба народов – тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.

Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике – достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесячную дискуссию. Чих отвлекает – в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное – любыми способами войти в «историю литературы», примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавшего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:

«Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?» – «Кады-ык, мяса-то еще нету его».

Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было. Не так ли и иные критики хотят больше «выдать», чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.

Если бы у этих мини была только бесхитростьность Кадыка!

* * *

Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики «герр профессор» перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что – по-прежнему он заведует кафедрами, «с надменным видом» изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные «труды», величаво заседает, подписывает юбилейные «адреса» и т. д. Как говорит один герой у Бальзака: «Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу». Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи – оживить свою «ученость» хотя бы одним живым, творческим словом.

А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величавой-то осанке да душу бы «адекватную», как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стоически переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого:

«Серебряков. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тебе же первой я противен... Конечно; ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть».

Каков наш проповедник красоты?! А ведь в жизни этот и ему подобные не довольствуются смиренной ролью слабых – им подавай трибуну, откуда бы они гремели на весь свет. Да еще как гремят. Теща Серебрякова Мария Васильевна только и занята целыми днями тем, что читает «брошюры» обожаемого ею зятя-профессора. Для таких Марий Васильевн нет большего остроумия в мире, как шутка профессора: «Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания»; нет большей тонкости, как профессорские восклицания о природе: «Пре-

красно, прекрасно... Чудесные виды». И по-профессорски процветают на этих эффектах, на этой театральности. Выдающимися слывут из-за одной своей осанки или голосовой гущенности.

Сознательно или бессознательно, но Чехов подметил страшный психологический симптом – духовное вырождение «образованного» человека, гниение в нем всего человеческого – так сказать, в блеске интеллектуальной синтетики. Расплодись повсеместно серебряковщина – не из чего было бы развиваться роду человеческому. Никакого здесь идеала, никакого намека на самопожертвование, ничего естественного. Фразы, фразы... Вот недавно за границей был очередной симпозиум – сколько речей было там произнесено на тему: может ли творить художник, когда на его глазах умирает с голоду ребенок? Писали в газетах, что весьма интересная была дискуссия. Но можете вы представить себе, чтобы «дискутировали» на эту «тему» Достоевский или Л. Толстой?

Элегантно облаченные в сплошной прогресс, все эти любители симпозиумов искреннейшим образом убеждены, что вокруг их пупа крутится человечество и сама земля. Вы помните «талантливого и многотимого» либерала Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» Достоевского, который до «страсти» любил «гражданскую роль». Помните, как он написал нечто смелое – поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал. Эту поэму вдруг печатают «там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».

Ясно, что наш смелый Степан Трофимович преувеличивал свою гражданскую роль, вряд ли кому было дело до него, хотя он «искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его непрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии».

Чтобы полнее представить себе значительность Степана Трофимовича, напомним, что он защитил блестящую диссертацию о «возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами». Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: «я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель»; «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаясь на иной бочок своей «гражданской роли» – по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные – с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками. Где-то я читал, как ответил на высочайшее пожалование крепостными один благородный человек: «Куда уж мне до чужих душ, когда и со своей собственной я не умею справиться». Вот такое самоумаление уж никогда не придет в голову «досточтимым» прогрессистам. Они убеждены, что им под силу справиться с таким количеством душ, сколько их в человечестве. Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них – это провинциально.

При образованности-то всеевропейской вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному интеллектуальному прогрессу? Образованность слово магическое и всепоспешное. Как же можно представить себе профессора Серебрякова или Степана Верховенского без этого отличия? И культура без них зачахнет. Кто же будет говорить о ней на конгрессах, симпозиумах? Но сами они считают, что не только говорят о культуре,

но и делают ее. Заодно с Достоевским – ибо у него и у них, «интеллектуалов», один и тот же «круг идей». Тайна искусства, стихия народной жизни, порождающая подлинную культуру, как море жемчужину, все это, конечно, к делу не относится.

Видимо, есть какая-то роковая дисгармоничность между внутренней ценностью человека и его местом в мире. Мещане часто артистичны, форма у них не только что-то скрывает, но и в какой-то мере поглощает внутренние разрушительные силы. Творческие цели, самоуглубление этим силам неведомы – так они разряжаются смертельной практической хваткой. Это колоссальнейшая энергия, которой хватает и на самопожирание и на торжество. Если не в глубь – то вперед, во все стороны пространства!

Точно так же как выстраданное слово русских художников-классиков рождено страданием и борьбой народа, так истинная культура исходит из недр народного опыта. Даже музыка, которую называют наиболее «общечеловеческим» видом искусства, не оторвана от национальных истоков (хотя бы и духовные кантаты Баха, впитавшие в себя многое из немецкой средневековой музыки). Культура – растение органичное, немыслимое вне народной почвы. Но плодородие этой почвы непостоянно, оно зависит от исторических обстоятельств. И, конечно же, никакой разлив так называемой «высшей образованности» не заменит первоисточника культуры. В истории народов можно вспомнить периоды, когда задавленный, так сказать, необразованностью народ порождал через органы своего самосознания – национальных художественных гениев – непреходящие ценности культуры. Но вряд ли зараженная мещанством (даже и сплошь дипломированная) масса способна оставить по себе что-либо духовно-значительное. Самое прогрессивное умножение такой массы культуры никак не сулит. Здесь можно быть оптимистичным только на манер того зарубежного прогноза, который недавно был опубликован в «Литературной газете». «Ни прозорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственный контакт с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов...» Стало быть, не такое уж сложное дело – размножение художественных гениев. Это, так сказать, неизбежно-прогрессивное дело (уже по одному тому, что прошлое всегда и во всем хуже настоящего, а тем более будущего). Самоуверенность такого рационализма имеет давнюю историю. Может быть, наиболее разительный пример – как свора музыкантов после смерти Баха переделывала его произведения, «поднимая» их на уровень «современного звучания». Бах был для них «неотесанным». У нас в России в 20-х годах много пришлось повозиться с русскими классиками режиссеру Мейерхольду: только после основательной перекройки их книг, урезывания всего «неотесанного» и приклеивания нового, «современного», эти писатели обрели «достойный» голос.

Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?

Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выходило на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Труханова о постановке А. Эфросом чеховских «Трех сестер» на Малой Бронной (газета «Советская Россия» от 13 февраля с.г.): «... огромная тахта на авансцене – эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе – твист. Это ли не фиглярство?..

В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи «офицеров» Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточ-

ными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить – думать неловко. Зато какой – эффект все наоборот!..

Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?»

Автор письма спрашивает: «Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение». Виден ли конец этому разрушению?

И как же заразительна «культурная» эlegantность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет преизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет приметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее «способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый» (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны – Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.

Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков – все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.

Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия – думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя – так принято, так культурно. А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без «культуры», не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: «И подобно тому как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем»

Это верно, что живет только то, где «больше духа» (не отраднo ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо.

Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело – видимость, форма «интеллектуального». Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разномасштабная компания – от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.

* * *

Все на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих бога с кафедры, в «людской каше», при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, «то не занимать ее шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

Но в том-то и дело, что никак не могут «искать одиноко» эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся в них цитатные и прочие «культурные» приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол побольше «проблем» всякого сорта – начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью – вот уж будет «блеск»!

Боль, «кровопролитная битва» на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы – все одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата.

И самая смерть для таких счастливых щенячье дело.

Говорят, что Моцарт умер вскоре же после «Реквиема» так он был потрясен сокровенной загадкой бытия, выразившейся в его «Лакримозе». Но вот я слышал, как говорил молодой музыкант, вернувшийся из Боткинской больницы, где только что умерла его жена: «Понимаешь, так хватала из кислородной трубки, сжимает ее, дергает, а у самой уже в это время окисление мозга начинается...» Ему бы бежать с этого шестого этажа, где он так расписывал смерть жены, чтобы в голове кровь с мозгами не перемешалась, чтобы не броситься самому из окна, а он так научно вникает... Как бы посмеялся этот любитель изящного, передай я ему рассказ моей бабушки о том, как умирала ее дальняя родственница: «Говорит всем: вы возьмите в руки свечи, зажгите их и мне одну дайте, чтобы я не в темноте пошла на тот свет, а с огоником».

Поделюсь наблюдениями. Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома поблизости). Не было еще дня, чтобы не слышал: «Скажите, а где могила Салтычихи?» Но не слышал ни разу: «Скажите, а где могила Чаадаева?» Или: «Где могила историка Ключевского»? Видимо, Салтычиха действует поострее...

Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не способно подняться выше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота. Для него «общие» идеи пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощреннейшие, эрудиция современнейшая вплоть до ссылок на заклятых зарубежных «друзей» и т. д. Это мещанство самая желанная почва для разлагателей народного духа.

* * *

Вообразите себе самочувствие Герцена, который покинул Россию ради «свободной речи» в Европе и вот в этой Европе начинает задыхаться от миазма буржуазной пошлости. Потом-то у Герцена вырвалось: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели».

Вообразите себе ужас Герцена, который бежал за границу, полный надежд и веры в европейское духовное процветание, и вот обнаруживается, что духовного-то процветания и нет, а есть «мелкая и грязная среда мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию», а есть лавочники, буржуа, безликая икра людская. Сколько ненависти в герценовских словах о буржуа, который «обрюзг, отяжелел», который «смеется над самоотвержением», каменея в «разврате самом гнусном». Катастрофично оскудение: «Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли... все нищают, не обогащая никого: кредита нет, все перебиваются со дня на день; образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как

лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими, никто не берет оседлости: все на время, наемно, шатко».

Можно представить себе такой вопрос Герцену со стороны воображаемого оппонента: «Вот вы говорите о русском народе, так сочувствуете ему за всякие там его страдания, но что будет, когда он достигнет благополучия, достигнет процветания? Вы уверены, что тогда-то, без голодухи-то повальной, без которой не обходились русские, ваш народ будет глубок духом? Будет готов к толчку для обновления человечества? Не проест ли его тля столь прези-раемой вами буржуазности?» Герцен мог бы в ответ сказать: «Буржуазная Россия? Да минет Россию это проклятие!»

Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла еще в определенных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенциально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как «единый индустриальный организм», где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция – вот слово, которым эти ревнители «единого организма» хотели бы духовно просветить народы, зараженные национальным «анахронизмом». Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование «единым организмом». Ничего, что с такой «интеграцией» в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа.

Духовная сытость – вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здоровым и в то же время неизлечимо больным. Для творческого человека нет, пожалуй, большего наказания, чем опуститься до этой духовной сытости, но буржуа иного состояния и не знает. Респектабельность вполне побивает в его глазах «юрродство какого-нибудь Белинского», нищенствовавшего всю жизнь, а перед смертью, в бреде, что-то кричавшего народу. Ну солидно ли? Или вот еще: дело ли этого ученого Ломоносова рассуждать о «сохранении и размножении русского народа»?..

Гражданская честь заливается жиром. Все бытие в пределах желудочных радостей: довольствуясь этим малым, мещанин только в этом рыгающем содержании и понимает мир.

То, что живот святость материнства, это совершенно ясно. Но есть и брюхо, о котором В. Гюго (по поводу Рабле) сказал: «Брюхо животное, это свинья. Один из отвратительных Птолемея прозывался «брюхо». Брюхо для человечества страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушает равновесие между душой и телом. Оно пятнает историю. Оно вместилище пороков. Аппетит развращает разумение. Похоть сменяет волю... Потом оргия превращается в кабацкий загул... Человек стал штофом водки. Внутренний поток темных представлений топит мысль: потонувшая совесть не может более подать знака пьянице-душе. Оскотение совершилось. Это даже уж и не цинизм: пустота и скотство. Диоген исчез: осталась только его бочка. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродетели, ни ума: животное наслаждение напрямки, грязь наголо...

брюхо съело Человека. Конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал».

На застоявшуюся кровь буржуа куда острее действует «человечество», нежели местное «народ». Этому провинциализму он сумеет дать надлежащий отпор. Вроде таким вот допотопным словам Гоголя: «Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами». А ведь давно пора бы отшлифовать эту самую «внутреннюю стихию». Да и гостиница дело веселое и прогрессивное, способствующее общению и усвоению культуры...

Национальная культура для мещанства пустой звук. С одинаковым физиологическим напором будет оно говорить и о модном здании гостиницы, и о трагедиях в жизни народа. Первооснова всякого творчества – незримая связь с «телом народа» (употребляя известное выражение Маркса) столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества – ведь это требует духовных поисков, к этому надо идти внутренне, самостоятельно...

... Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную Мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово (неподалеку от Спас-Клепиков). В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же как в Спас-Клепиках о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов.

В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом (недавно отслужили в армии и все, то есть молодые мужья, вернулись домой).

О многом говорили. И вот в этом-то низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, Иван Макарович Марушкин. «Его орудие в Ленинграде в музее стоит. Награжден двумя орденами Славы, двумя Красной Звезды, всего двенадцать наград...»

А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался...

Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?

Журн. «Молодая гвардия», 1968

Освобождение

Голод 1933 года. Замалчивание его в официальной «исторической науке» и мистическая легенда о нем. Идеологическая обстановка в стране, когда писалась моя статья «Освобождение» по поводу романа М. Алексеева «Драчуны» – о голоде в Поволжье в 1933 году. Первый сигнал: в ЦК КПСС на совещании главных редакторов всех столичных изданий секретарь ЦК М. Зимянин осудил мою статью «Освобождение» в журнале «Волга», № 10, 1982. Отрицательная оценка генсеком Ю. Андроповым статьи «Освобождение» и решение секретариата ЦК КПСС по поводу ее (январь 1983 года). Советники Ю. Андропова в ЦК из числа западников-космополитов, «агентов влияния» – будущих «перестройщиков». Травля меня в прессе. Поддержка ряда писателей. Реакция в Литературном институте – ожидаемая и неожиданная. Мое выступление на Ученом совете Литинститута с объяснением моей позиции как автора «Освобождения». Обсуждение моей статьи на секретариате правления Союза писателей РСФСР (8 февраля 1983 года). Обличительные выступления на нем писателей-секретарей под предводительством С. Михалкова и под надзором цековского цербера А. Беляева. Встречи с теми, кто меня громил. Зарубежные отклики на мою публикацию. Рецензия в японской газете «Асахи». Книга немецкого исследователя Дирка Кречмара «Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг.». Поездка с М. Алексеевым в его родное село Монастырское, по местам его романа «Драчуны».

Летом 1982 года мне позвонил из Саратова Николай Егорович Палькин, главный редактор журнала «Волга», и попросил меня написать для них статью о романе Михаила Алексеева «Драчуны», опубликованном в предыдущем году в журнале «Наш современник». Я согласился и решил прочитать все, что написал до этого о деревне писатель. После уже известной мне, прочитанной ранее повести «Карюха» – трогательной, драматической времен коллективизации истории о лошади, незаменимой помощнице в большой крестьянской семье, – неким «лирическим сиропом», казалось, было размешано повествование в других романах и повестях автора (в духе названия одного из романов «Ивушка неплачущая» – о судьбе русской женщины, не утратившей в годы суровых испытаний душевной красоты, силы любви). И читая, наконец, «Драчунов», поразительно было видеть, как правда в литературе способна выжечь все ложное вокруг себя, как недопустима при ней любая фальшь, любая красивость, велеречивость. Писатель рассказал о том, что он видел, что пережил в детстве в своем родном селе Монастырском, на Саратовщине, поведал о страшном голоде 1933 года, поразившем Поволжье, когда смерть косила массы людей: так впервые была сказана правда об этой народной трагедии, о которой до этого царил полное молчание в нашей художественной и исторической литературе (за исключением упоминания о 1933 годе в книгах того же М. Алексеева).

«Драчуны» вызвали в памяти и личное, связанное с тридцать третьим годом, когда мне было семь с небольшим лет. Голод тогда, как я могу теперь судить после «Драчунов», лишь краем коснулся наших рязанских мещерских мест. Но навсегда запомнил я слова матери: «Ничего нет страшнее голода». Она еще и по голоду первых послереволюционных лет знала, что такое хлеб из крапивы, дубовой коры, из опилок, отдающих сыростью, из гречневой мякины, после нее все тело начинало щипать, когда утром умываешься, а когда идешь по росе, как иголками прокалывает с ног до головы... Помню, как однажды, когда никого не было в избе, я зачерпнул деревянной ложкой мятую картошку из большой чашки и, услышав, как кто-то идет, подбежал к открытому окну, выходящему в огород, и бросил ложку вниз. Но никто в дом не вошел, мне, видимо, почудилось, что кто-то идет, и было так жаль, что поторопился бросить ложку. Второй раз я не решился взять картошку, боясь, что будет заметно. И помню – в тот год и долго еще потом мечтал я о том, что, когда вырасту, буду

председателем колхоза, чтобы вдоволь есть блины. О том, голодном 1933 году я вспоминал в своей книге «Надежда исканий», вышедшей в 1978 году (глава «В родительском доме»).

Народ может извлечь исторические уроки только из полноты своего опыта, сокрытие событий глубинных, трагических способно исказить, деформировать национальное, даже религиозное сознание. Литература, «историческая наука» молчали о тридцать третьем годе, а между тем вокруг него возникали целые мистические легенды. В восьмидесятых годах посылал мне не переставая, и, видно, не одному мне, толстые конверты житель деревни с Могилевщины с машинописными отдельно сложенными листиками. В конце очередного «послания» каждый раз дата: такого-то числа, 92 года по Р. И., то есть «по Рождеству Иванова». О Порфирии Иванове многие слышали как об оригинальном человеке, который и сам жил, и других учил жить в единении с природой, ежедневно обливаться водой, ходить босиком по земле, по снегу и т. д. Но главное не это, а то, что Иванов Порфирий Корнеевич и сам себя считал, и после своей смерти продолжал оставаться в глазах своих поклонников «Господом Животворящим», основателем «новой тотальной религии», объединяющей «бывших христиан, мусульман и буддистов». У новоявленной религии нашлись последователи – «ивановцы» – среди них и тот, кто постоянно направлял мне письма с «посланиями» своих единоверцев. Но что меня поразило, так это следующее место: «Произошло это боговоплощение во время искусственно организованного голода 1933 года, когда умерло семь миллионов крестьян-христиан: коллективный народный вопль о помощи привел ко второму вочеловечению Бога. 25 апреля на Чувилкином бугре (в эпицентре голода) родился свыше Богочеловек второго пришествия – Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов».

По поводу этого «второго боговоплощения», как и миссионерских посланий с Могилевщины, я писал в своем цикле «Из памятного» в одном из номеров журнала «Молодая гвардия» восьмидесятых годов: «Может быть, кому-то это смешно, а мне от этого жутко. Голод, массовое вымирание, невероятные страдания народа, о чем у нас молчали полвека (как будто ничего этого не было), остались в недрах народной памяти и вот в данном случае обратились в болезненно-фантастическое «боговоплощение». В самом эпицентре голода. В этом видится какое-то мистическое примирение с тем, с чем нельзя, собственно, примириться исторически. Не могли пройти бесследно те ужасы, именно из этих необъятных народных страданий и исторгается идея нравственного абсолюта. Так отозвался голод 1933 года в этой духовной фантасмагории. Вряд ли что-нибудь подобное было в истории возникновения религиозных идей; это наше, увы, «русское чудо», новая социальная утопия, от которой мы никак не можем освободиться».

И в заключение у меня было сказано: «Не Крест, а «Чувилкин бугор». Но, может быть, помимо всего другого и неустройство наше, множась беды – от бесплодности наших страданий. Ибо страдания не бесплодны, когда они – с Крестом, с именем Христа, Который страдал на земле и оставил нам тайну страдания, без нее даже и великая жертвенность народа напрасна...»

Вскоре после появления этого моего ответа в «Молодой гвардии» на «миссионерство» автора с Могилевщины я получил от него письмо, в котором он обвинил меня в пособничестве... сионизму.

Приступил я к статье о «Драчунах» с решимостью прямо, без обиняков говорить, в какой мере исторический опыт народа отразился в современной литературе. Как бы ни льстила себе литература, но она на торжищах жизни

всего лишь голос, так сказать, совещательный, не решающий. Литературе не решать, а ставить проблему, предупреждать, предсказывать – и к этому может прислушиваться власть или быть глухой. Нынешняя «демократическая» власть наплевала на всякую литературу, как и на все другое, что не отзывается шелестом долларовых бумажек. Тогда литературу не оставляли без внимания, но вряд ли прислушивались к ней. Для того чтобы к ней при-

слушивались, литература должна прежде всего уважать себя, должна обрести сознание собственного достоинства, как та нравственная сила, которая нужна людям, обществу, народу, государству. До этого сознания мало кто поднимался. Тон задавала «секретарская литература», книги многочисленных секретарей – Союза писателей (СССР, РСФСР, Московской писательской организации и т. д.). Помимо особых квартир, помимо дач «полагались» им, как правило, издание их собраний сочинений, Государственные и прочие премии, повышенные гонорары и проч. И не мудрено, что при таком положении дел эти «классики» держали курс не на народ, не на государство, а на «высокое начальство».

Помню, во время нашей – членов редколлегии журнала «Молодая гвардия» – встречи с секретарем ЦК КПСС П. Н. Демичевым я обратил внимание: весь угол его большого кабинета, как поленницей дров, был завален книгами. Оказывается, это были дарственные книги писателей партийному идеологу. Любопытно было бы собрать эти дарственные надписи воедино: вот был бы портрет верноподданнической литературы. Туда, на Старую площадь, где размещался ЦК партии, где засели яковлевы-беляевы, – туда и вострила свой взгляд ловкая часть братьев-писателей в расчетах угоднических и потребительских.

Если по отношению к идеологическому «начальству» писатель был покорным исполнителем «указаний сверху», то совершенно менялась его роль по отношению к народу: здесь он считал себя «воспитателем», был убежден, что «формирует народный характер». И уверял себя и читателей, что писатель «за все в ответе». Как-то в одной из своих статей (в «Комсомольской правде» в середине шестидесятых годов) я позлословил по поводу этого взваленного на себя бремени: какое уж там «за все на свете в ответе», ты хотя бы за себя отвечал, за свое слово, хотя бы получше писал, не водил пером по бумаге, как курица лапкой. И как же возмутились ответчики «за все на свете». Так же, как впоследствии возмутились сказанным мною (уже в статье о «Драчунах») о тех писателях, которые настолько залитературились, настолько вознеслись во мнении о «собственной миссии», что забыли, бедные: никакие они не «формировщики» народной души, никакие не попечители, не отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), которым впору бы подумать о приведении в порядок, о «формировании» души собственной, прежде чем приступать к «формированию народной души». Ведь еще Гоголь говорил, обращаясь к писателям: «Сначала образуй себя, а потом учи других». Первая часть этого завета была не в моде, зато со второй все было в порядке: писатели вовсю старались учить других. Но никуда не денешься от закона в литературе: сколько вложено, столько и отзовется. И если в себе ничего нет, кроме дара приспособленчества, кроме духовной, душевной мелкости, равнодушия к тому, о чем пишешь, – то чем же могут отозваться в читателе любые твои поучения?

По мере работы над статьей одно сцеплялось с другим, литературное с личным, историческим, и самого меня вело по прямому пути, изменить которому я не мог по зову совести. Собственно, ничего особенного здесь и не было, обычное вроде бы дело, что и должно быть в критике, – соотнесенность литературы и жизни, историзм литературы, которой нельзя изменять узкой идеологичностью без ущерба для самой же идеологии, сила которой всегда в осознании своей исторической правды. Видя на практике, какой существует разрыв между историческим опытом народа и, с другой стороны, литературой, ставшей уже казенной идеологией, я не мог не предвидеть, как будет встречена моя статья на эту тему людьми, не признающими за писателем права ставить проблемы, предупреждать о грозных симптомах в общественной, государственной жизни. Как показали последовавшие вскоре события, страна двигалась к краю пропасти. Пятая колонна, породившая Горбачева, готовилась к захвату власти изнутри, в недрах ЦК (усилиями всяческих сионистских «помощников», «экспертов», «консультантов»), с помощью амбивалентной марксистско-ленинской идеологии разлагая государственные устои. А в это же время «верные ленинцы», как страусы пряча головы в песок, не желали видеть реальности происходящего и ничего, кроме «пролетар-

ского интернационализма», не хотели знать. Отправил я свою статью под названием «Освобождение» в «Волгу» (за статьей приезжал работник журнала В. Бирюлин) и стал ждать не без тревоги, что будет дальше, когда она была опубликована в десятом номере «Волги» за 1982 год.

10 ноября 1982 года умер Брежнев. Через день я пришел в Литинститут, чтобы оттуда вместе с другими (обязаны!) идти в Колонный зал для прощания с покойным. На кафедре творчества я увидел Валентина Сидорова, – как и я, он работал руководителем семинара. Он стоял у стола, более, чем всегда, ссутулившийся, отвислые губы подрагивали. «Пришел к власти сионист», – поглядывая на дверь, ведущую в коридор, вполголоса произнес он и добавил, что этого и надо было ожидать при вечной взаимной русской розни. Я промолчал, зная, какие средства имеются у «Махатмы» (так называли Валентина Сидорова его знакомые литераторы) против этой розни – «надрелигиозное ученье» Рериха и Блаватской с антихристианской подкладкой.

От Литинститута до Колонного зала, где происходило прощание с Брежневым, совсем недалеко, но шли мы какими-то окольными улицами, так что подошли к Дому Союзов незадолго до его закрытия. И поднимались по лестнице, подгоняемые прикрикиванием милиционеров: «Побыстрее! Побыстрее!»

Андропов. Теперь Андропов! Что нас ждет? И что ждет меня после моей статьи, уже вышедшей в свет? Взгляд сквозь очки – строго испытующий, со зловещинкой. Вскоре дала о себе знать «твердая рука» нового правителя. Стали хватать в рабочее время людей в магазинах, на рынках, в банях – в целях «наведения порядка». Следовало ожидать нечто подобное и в идеологии. И первое как бы предупреждение получили «русисты» (как называл Андропов «русских националистов»), когда он, новый генсек, в своей речи к 60-летию СССР, 21 декабря 1982 года, назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов».

Тогда же узнал я о «проработке» своей статьи «Освобождение» в ЦК КПСС. Вот что пишет об этом свидетель происходившего Михаил Алексеев, автор романа «Драчуны»: «В Центральном Комитете партии под председательством секретаря ЦК М. В. Зимянина было проведено экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, где было и произведено судилище над статьей Лобанова и над главным редактором «Волги» Н. Палькиным, опубликовавшим в 10-м номере за 1982 год эту статью. Будучи редактором журнала «Москва», я присутствовал на том памятном совещании, но именно как редактор, и вроде бы разыгравшаяся трагикомедия вокруг «Драчунов» меня вовсе не касается, а виноват лишь, мол, Лобанов, истолковавший роман в антисоветском духе. В результате главного редактора «Волги» Н. Палькина сняли с работы, М. П. Лобанова, как по команде (а может быть, не «как», а точно по команде), начали яростно прорабатывать едва ли не всеми средствами массовой информации и чуть было не отстранили от преподавания в Литературном институте» (Михаил Алексеев. Избранные сочинения в трех томах. М.: Русское слово, 1998).

Забегая вперед, хочу передать то, что рассказал мне сын Михаила Васильевича Зимянина – Владимир Зимянин, международник, работник Министерства иностранных дел. Уже во времена «перестройки», находясь на пенсии, Михаил Васильевич просил сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище над моей статьей, потому что «все шло от Юры», как назвал он по старой комсомольской привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу).

Как-то неожиданно для меня было узнать об этом «покаянии», видно, осталось в этом высокопоставленном партийце нечто живое, казалось бы, немыслимое после тех идеологических медных труб, сквозь которые он прошел.

Но каково конкретно было отношение к злополучной статье непосредственно самого Юрия Владимировича Андропова? В 1994 году в Германии, а затем в 1997 году в переводе на русский язык в Москве вышла книга немецкого историка Дирка Кречмара «Политика и

культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг.». В этом по-немецки обстоятельном исследовании приводится, в частности, содержание беседы Ю. Андропова с первым секретарем СП СССР Г. Марковым вскоре же после решения ЦК КПСС о журнале «Волга» и моей статье. «Андропов с сожалением вспомнил в этой связи о статье Лобанова, которая послужила поводом для издания постановления, и сказал, что партийный комитет Саратова «должен еще принять меры». Эта статья «поднимает руку на то, что для нас священо», прежде всего на коллективизацию и Шолохова. Кроме того, она предпринимает попытку ревизии мер партии в 30-е годы, несмотря на то, что «жизнь полностью доказала их правоту»». (Содержание беседы дается со слов Г. Маркова на заседании секретариата правления СП СССР от 12 апреля 1983 года. Архив СП СССР, оп. 37, № 1036.)

Честно говоря, когда я писал статью, никакого замысла «поднимать руку» на коллективизацию и Шолохова у меня не было. В статье есть такие три фразы: «Если в «Тихом Доне» Шолохова гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные ей по значению события коллективизации в «Поднятой целине» звучат уже совершенно по-иному, на иной, бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно. Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев – это не просто герой-«двадцатипятилетний», но и некий символ нового, волевого отношения к людям». Вот и все, что сказано о коллективизации и Шолохове в статье размером в шестьдесят с лишним машинописных страниц. Конечно, «на бодрой ноте» – не те слова в отношении «Поднятой целины». Недавно я перечитал этот роман и убедился, что в нем (в первой книге, вторая слабее) чувствуется художническая рука автора «Тихого Дона». Но тогда я имел в виду, главным образом, героя романа Давыдова, питерского рабочего, и даже его прототипа Плоткина, который учит исконных земледельцев, как работать на земле. Что же касается Шолохова, то с его «Тихим Доном» у меня была связана целая жизненная история. Выпускником МГУ я защитил на отлично дипломную работу на тему «Колхозное крестьянство в произведениях современных советских писателей». Мой руководитель, завкафедрой советской литературы Евгения Ивановна Ковальчик, и оппонент, доцент Дувакин, на защите восторженно расхваливали мою критическую работу (а Евгения Ивановна отметила ее как лучшую в «Комсомолии» – в знаменитой тогда огромной, метров десять длины, стенгазете в коридоре филфака). В аспирантуру выдвигались «общественники», каковым я не был, но она и не прельщала после того, как я прочитал «Тихий Дон» и был потрясен художественной силой его. Меня потянуло туда, где жил и творил Шолохов, и после окончания МГУ в 1949 году я поехал в Ростов-на-Дону по вызову, который мне устроил мой дядя по матери Федор Анисимович Конкин, работавший секретарем одного из райкомов партии города. Помню, когда поезд мчался по донской земле, я из окна вагона смотрел на расстилающиеся степи и все думал: неужели этот великий писатель живет в наше время?

А в Ростове жизнь распорядилась совсем не так, как я предполагал. Поступив на работу в редакцию областной газеты «Молот», я рассчитывал поехать по донской земле, по местам гражданской войны. Скрутил меня туберкулез легких, который переборол романтику, хотя от того благоговение перед творцом «Тихого Дона» не исчезло. И когда спустя десять лет, уже живя в Москве, приехал я в Ростов и благодаря Анатолию Калинину оказался среди других литературных гостей Шолохова в гостинице «Дон» – то сплошным переживанием для меня были те долгие часы, когда я слушал и смотрел на писателя. Видно, глубоко засел во мне образ автора «Тихого Дона», овеванный трагизмом времени, что вот и тогда, на той встрече, в живом Михаиле Александровиче я видел того Шолохова. (О встрече с Шолоховым я рассказал в журнале «Слово» в начале девяностых годов.) И в своей литературной работе я не скрывал своего преклонения перед автором гениального «Тихого Дона», творцом образа Григория Мелехова, сына «серединного народа», который своими поступками,

действиями, кровавыми схватками в бою расплачивался за умственные спекуляции, «поиски обновления» героев из интеллигенции типа толстовского Пьера Безухова (об этом моя статья «Тихий Дон» и русская классика» в книге «Надежда исканий». – М., 1978).

Так что я никак не могу признать справедливым обвинение меня в том, что я «подымал руку на Шолохова».

В недавно вышедшей книге Т. Окуловой-Микешиной «Бесовщина под прикрытием утопий» впервые исследована роль в разрушении великой державы такой касты, как советники из числа западников-космополитов последних советских вождей, начиная с Хрущева. Об истории возникновения этой касты рассказывает один из подобных советников Г. Шахназаров в своей книге «Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника». «Это была первая группа такого рода. В какой-то мере ее создание было навеяно опытом американцев. Как раз в те годы президент Кеннеди привлек к себе на помощь для совета специалистов из числа крупных политологов, историков, экономистов. В моду входили так называемые мозговые атаки, предлагавшие правителям веер альтернативных решений. Нечто вроде этого задумал только что возведенный в сан секретаря ЦК КПСС заведующий отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Юрий Владимирович Андропов». По признанию мемуариста, эта группа была «своего рода инородным телом в чиновничьем организме, какой представлял собой аппарат ЦК КПСС». По его же словам, в политической жизни противостояли два лагеря: «в одном – великодержавники, славянофилы, или евразийцы, в другом – западники, интеграллисты, или космополиты». Новопеченная группа консультантов Андропова и состояла исключительно из западников-космополитов, таких, как Г. Арбатов, Г. Шахназаров, А. Бовин, А. Черняев, Ф. Бурлацкий и т. д.

В своих мемуарах Ф. Бурлацкий бахвалится, что Андропов называл его и других своих консультантов «духовными аристократами». Заметим, не то, что нас, «славянофилов», – презрительным словом «русисты». Читая мемуары этих «духовных аристократов», видишь, сколько высокомерия и презрения у этой ядовитой, поистине инородной публики к «серой массе» цеховских работников, в том числе и к самим членам Политбюро из русских, и вместе с тем как дружно, образуя неразрывный круг, демонстрируют они свои «особые отношения» с Андроповым, сначала секретарем ЦК КПСС, а затем генсеком – вплоть до того (как рассказывает об этом Бурлацкий), что Юрий Владимирович доверительно почитывал им свои стихи, дружеские стихотворные послания, чем, оказывается, он увлекался.

Недавно в нашей печати (газета «Советская Россия», 8 апреля 2000 года) приводились слова заместителя госсекретаря США Тэлботта о том, что академик Арбатов стал «другом Америки» еще с семидесятых годов. В качестве агента влияния в интересах США действовал он и как консультант в ЦК КПСС. Ему были всегда открыты двери кабинетов генсеков... Вот одна из историй. Партийная комиссия во главе с одним из членов Политбюро при проверке работы академического Института мировой экономики установила факты «засоренности института сионистскими элементами», пришла к выводу, что «институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире». Директор этого института Н. Иноземцев оказался, что называется, в подвешенном состоянии. И тогда на выручку своему другу и единомышленнику бросился Арбатов. Как он сам рассказывает в своих мемуарах «Затянувшееся выздоровление (1953–1985 гг.)», придя к Брежневу в его кабинет, он начал обвинять парткомиссию в необъективности, клевете на директора Института мировой экономики, и первой же реакцией Леонида Ильича на эти слова было то, что, положив руку на телефон, он спросил: «Куда звонить?» И этот звонок генсека в присутствии Арбатова прекратил расследование преступной деятельности агентов влияния. Как пишет автор названной выше книги «Бесовщина под прикрытием утопий»: «Насколько обоснованными были выводы комиссии, можно судить и по тому, что бывший сотрудник этого института Д. Сайме после эмиграции в 1973 году в США стал там консультантом Совета по раз-

ведке ЦРУ». Со вступлением Андропова на высший пост в партии панибратское отношение с ним Арбатова приняло такой наглый характер, что новый генсек считал нужным в письме к «академику» несколько урезонить его. Сам поклонник, опекун «интернационалистов»-космополитов в литературе и театре, вроде шатровых, юриев Любимовых, евшушенок, Андропов не нуждался в арбатовском оголтелом навязывании ему роли апологета еврейской «творческой интеллигенции». Тем более что всему должно прийти свое время...

В том же докладе к шестидесятилетию СССР, где он назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов», Андропов ратовал за «слияние наций» в одну «советскую нацию», прекрасно, конечно, зная, что есть одна нация, заинтересованная в «слиянии наций» и которая сама никогда ни с кем не сольется, — это народ по имени «И.». И в этом вопросе его консультанты оставались, разумеется, все теми же «духовными аристократами». В ЦК партии при Андропове проблемами национальных взаимоотношений в стране занимался А. Бовин, зав. группой консультантов. С наступлением «перестройки» он начал открыто проповедовать, как обозреватель «Известий», то, что раньше попридерживал до лучших времен. В газете «Московский литератор» (25 мая 1990 года) я привел факт, как на I съезде народных депутатов РСФСР из редакционной комиссии был исключен главный редактор «Советской России» В. Чикин за публикацию в этой газете «Манифеста антиперестроечных сил», извест-

ной статьи Нины Андреевой. И далее я писал: «Почему бы во времена хваленного «плюрализма» не дать слово и этому автору? (Нине Андреевой.) Ведь печатают же небесспорные материалы в других газетах, скажем, статьи А. Бовина с яростной защитой сионизма («Известия», № 239 за 1989 год, № 21 за 1990 год), но от того главный редактор этой газеты И. Лаптев не подвергался же политической обструкции, а, напротив, даже преуспел, оказавшись выбранным председателем Совета Союза Верховного Совета». Вскоре после этого бывший консультант Андропова сионистский идеолог А. Бовин отбыл в Израиль в качестве посла России на «обетованной земле».

Оголились при Горбачеве, сбросив с себя показные идеологические покровы, и другие бывшие генсекские консультанты. (Экс-шеф ЦРУ Гейтс пишет в своих воспоминаниях: «ЦРУ с энтузиазмом отнеслось к Горбачеву с момента его появления в начале 1983 года как протеже Андропова». Кстати, с приходом Андропова к власти вернулся из Канады в Москву оголтелый русофоб А. Яковлев, ставший его ближайшим советником, а при Горбачеве — «главным архитектором перестройки».)

Таким образом, из всего сказанного выше видно, что представлял собою круг духовно близких Андропову людей и что, собственно, стояло за осуждением им моей статьи «Освобождение». Не могла найти в данном случае сочувственного понимания и моя ссылка в этой статье на Штокмана из «Тихого Дона», революционера-троцкиста, который натравливает одну часть казачества на другую его часть (Мишку Кошевого на Григория Мелехова) и считает «опаснее остальных, вместе взятых» Григория Мелехова, требуя его поимки и расстрела именно как представителя «серединного народа», сердцевины его.

О, тогда мне было не до этих рассуждений! Жуткая тень не просто КГБ (где работали разные люди и где, конечно же, были скрытно сочувствующие русским патриотам), а самого Андропова нависла над моей бедовой головой. Предстояло только ждать своей участи. Незадолго до этого подвергся допросу в КГБ историк С. Н. Семанов за хранение купленных им номеров машинописного русского патриотического журнала «Вече», который редактировал В. Н. Осипов. Тогда же С. Семанов был снят с поста главного редактора журнала «Человек и закон». Как стало известно впоследствии, этому предшествовала секретная записка Андропова в Политбюро, в которой речь шла и о Семанове как «русском и антисоветском элементе». И вот теперь мы оба, знавшие друг друга со второй половины шестидесятых годов, давние «молодогвардейцы», оказались в схожем положении. Мы встретились с ним около его дома, на Большой Дорогомиловской улице, рядом с Киевским вокзалом. Долго

петляли как зайцы по переулкам и дворам, по привокзальной площади, остерегаясь быть услышанными даже и там, хотя чего вроде бы таиться и скрывать – как «русисты» мы были все на виду в своих писаниях. По крайней мере, так я мог сказать о себе, когда писал, стараясь уйти в «русский дух», в чем виделось мне наиболее действенное противостояние разлагателям России. Сколько я ни общался до этого с Сергеем Николаевичем, все казалось теперь празднословным в наших прежних отношениях, и только сейчас что-то новое холодком общей опасности коснулось нас обоих. Оба мы, видимо, смахивали в чем-то на окруженцев, и командиром моим был в этих знакомых ему местах Семанов, уверенный, что за ним следят и надо замечать следы.

Между тем пущенная в ход по приказанию генсека идеологическая машина набирала обороты. Заведующие отделами ЦК КПСС – агитации и пропаганды Б. Стукалин, культуры – В. Шауро послали докладную записку в секретариат ЦК партии с осуждением моей статьи. И того, и другого я никогда не видел в лицо и позднее мог составить представление о них, встретившись с ними.

Набросились на меня борзописцы, первыми П. Николаев, Ю. Суровцев, В. Оскоцкий – давние мои попечители. Сегодняшнему читателю эти фамилии ничего не говорят, но тогда это была одиозно известная (во всяком случае, в литературных кругах) свора отпетых русофобов – достойных папашек нынешних «демократических» телекиллеров. Прошло три с половиной года после той истории с моей книгой об Островском, когда Николаев, о чем рассказывалось выше, так тешил себя ролью распорядителя травли, за это время он заматерел в этой роли и теперь, с выходом решения ЦК по моей статье, первым вылез добивать осужденного. «Освобождение... от чего?» – многозначительно назвал П. Николаев свою статью, опубликованную в «Литературной газете» 5 января 1983 года. По поводу названия этой статьи автор «Драчунов» М. Алексеев пишет в том же послесловии к трехтомнику, что я подвергся нападкам «за то, что первый указал, чего может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу, и перо свое, – это и только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано им под этим заголовком». И у меня в статье сказано: «Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году – упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было». Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, но моему обличителю требуется политическая улика, и вот он «расшифровывает» заголовок статьи как освобождение от всех социалистических основ, как неприятие коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т. д.

Вслед за Николаевым лягнули меня В. Оскоцкий в газете «Литературная Россия» 21 января 1983 года, Ю. Суровцев в «Правде» 13 февраля 1983 года. Как Николаев партвластью был наделен некоей функцией идеологического надзора над литературой, правом «вершить суд» над неугодными писателями, так Суровцев являлся недреманным оком по части разоблачения фабрикуемой им же самим «опасности русского шовинизма». В должности секретаря Союза писателей СССР он «курировал национальные литературы», разъезжал по республикам страны, по рашидовым-шеварднадзам-алиевым, раздуваясь, как клоп, на паразитировании казенно-интернационалистской «дружбы народов». И всюду, куда ни приезжал, сеял русофобию, ненависть к «захватнической, колониальной политике царской России», дразнил «опасностью русского шовинизма», науськивал местных националистов на русских людей. Ему были открыты двери всех партийных изданий, где он свободно мог навесить на нежелательное лицо любой ярлык. Ныне ставший «демократом», этот тип уже без прежних партийно-классовых масок в открытую называет своего главного врага, объявив в печати, что он пишет книгу «Конец русской идеи». Не рано ли торжествуешь!

«У страха глаза велики!» Вспомнилась мне Лубянка, где я был осенью 1966 года по делу моего литинститутского «семинариста» Георгия Белякова...

Первое, о чем я подумал в наступившем для меня безвременье, – это устранение возможных улик. Собственно, никаких улик и не было, но мало ли что... В свое время Илья Глазунов дал мне изданную за рубежом книгу Солженицына «Ленин в Цюрихе» с портретом на обложке вождя какого-то склеротического облика в зловеще-кровавом отсвете. Видя мое колебание (братъ – не братъ), он уличил меня в непонимании, что на эту книгу найдется масса охотников, готовых платить за нее большие деньги, а я даром не беру из-за трусости советского человека... И тут же предупредил, как бы отталкиваясь от меня жестом поднятых перед собою рук, что если я выдам его, то он объявит, что этого советского человека он не знает, видит в первый раз. (До этого я не раз был в его мастерской.) Для Ильи Сергеевича суть была, видимо, не в Солженицыне, а в самом Ленине, которого он недолго любил, именую «картавым». Впоследствии я лучше узнал Илью Глазунова, читая лекции в созданной им Академии живописи и ваяния, и оценил по-настоящему этого феноменального во многих отношениях художника и человека, его поистине великие заслуги в выращивании молодых русских художников-реалистов. Что же касается врученной мне книги, то в ней больше путающего себя с Лениным Солженицына, чем Ленина (недаром Александр Исаевич, как мне передавала по телефону первая его жена Наталья Решетовская, считал, что он похож на Владимира Ильича, и потому так охотно пишет о нем). Читать я ее никому не давал, и вот пришел черед аутодафе для нее. Жил я тогда в «хрущевке» на Бескудниковском бульваре, в крохотной однокомнатной квартирке, заваленной книгами, и, с трудом разыскав ту злополучную, приступил вместе с дочерью Мариной к сожжению ее в туалете. До чего же долго, чадно тлели клочки разорванных страниц, особенно куски глазурированной, с багровыми отсветами обложки.

Наступила пора моей домашней блокады. Безмолвствовал телефон, замолкли знакомые. Вдруг звонок из Твери. Звонит Петр Дудочкин, который до этого присылал мне свои статьи против пьянства, спаивания народа. Говорит о моей статье, кричит: «Рыба плывет нереститься против течения!» В Литературном институте узнаю, что на занятии по текущей литературе Н. Томашевский поздравил студентов... с выходом моей статьи. Лично я не был знаком с ним, знал его как автора честной вступительной статьи к двухтомнику Константина Воробьева, изданного в Прибалтике. Потом я познакомился с ним, вместе выезжали в 1989 году в Курск, на родину Воробьева, в связи с его юбилеем – восьмидесятилетием со дня рождения, как-то он засиделся допоздна у меня в номере гостиницы и все рассказывал о Воробье, как любовно называл он Константина Воробьева, признавался, как много значил этот писатель в его жизни, сколько он натерпелся от его резкого, трудного характера и все мог простить ему за незаурядность его личности и таланта. О Константине Воробьеве писал и я в своей статье «Освобождение», но мог бы добавить и нечто из личных встреч – как впервые, кажется, летом 1960 года, встретился с ним на квартире Михаила Карунного, в доме против Военторга, в центре Москвы. Карунный заведовал отделом прозы в издательстве «Советская Россия», где и выходила тогда первая в Москве воробьевская книга. Сразу же у меня с Воробьевым произошла схватка из-за Леонова: я тогда был, можно сказать, одержим любовью к Леонову (в 1958 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга «Роман Л. Леонова «Русский лес»»), мерилom моих симпатий к писателям было их отношение к Леонову. Доходило до анекдотичности. Как-то в статье одного публициста, помнится, Н. Грибачева, мелькнула отрадная для меня фамилия, и вроде бы сам этот публицист стал для меня другим. Но, увы, фамилия-то была не Леонов, а Лесков, и автор тут же стал для меня прежним Грибачевым (дело было не в Лескове, он и без того Лесков, а Леонов наш современник, недооцененный, как я думал, по достоинству). Мы оба с Воробьевым кричали, один вознося непомерно Леонова, другой ругая его чуть ли не как графомана. Синь глаз моего литератур-

ного противника вонзалась в меня льдинками неприязни, напряженные мышцы лица искажали ту его волевою чистоту, которая бросилась мне в глаза, как только я тогда увидел его. Все-таки мы и в тот раз отошли от взаимной горячки, а позже в издательстве «Советская Россия» встретились уже как добрые знакомые. Со временем, лучше узнав его как писателя, я понял, что ему, с его «жгучей правдой войны», с его жестким характером «правдолюбца», не до леоновской «велеречивости», как он довольно предвзято судил о творчестве Леонида Максимовича. Но закончу о верном поклоннике «Воробья» – Н. Томашевском. Не знал я никого из своих знакомых, кто бы так, как этот не русский по национальности человек, предан был памяти близкого ему русского писателя. Вспомнилась мне его слабая, чуть виноватая улыбка, когда я узнал о смерти, настигшей его в далекой от Москвы деревне.

Были с нами в той поездке по курской земле В. Астафьев, Е. Носов, московские, курские писатели. Незадолго до этого в журнале «Сельская жизнь» (№ 1, 1988), говоря о моей статье «Освобождение», Астафьев сказал, что автора ее «очень хотели уничтожить». Тогда Виктор Петрович был щедрее душой, как бы добрее к русским людям, и, они можно сказать, объединялись, кучковались вокруг него в той поездке. Где-нибудь на остановке, выйдя из машины, собравшись в круг, все, включая секретаря обкома партии, разинув рот слушали рассказы Виктора Петровича, изумительные по живописной языковой лепке, с простонародной «солью», – под хриплый хохот его самого. Кажется, только однажды случилась заминка в господствующем положении Виктора Петровича как рассказчика. Дело было на банкетике перед нашим отъездом. Астафьев сидел рядом с Евгением Носовым во главе стола, добавляя к пирушке перцу своих шуток до тех пор, пока слово не взял его внушительный сосед. Евгений Иванович заговорил не о каких-нибудь пустяках, а о самом Микеланджело, и таким голосом, что его сосед, задававший тон застолью, несколько притих, а затем совсем смолк, поглядывая с делано-ироничной, а больше явно смущенной улыбкой на восседавшего рядом эпического собрата. С таким же почтением, как о Микеланджело, говорил Евгений Носов о «высокой культуре маленьких народов Прибалтики. В Эстонии я не видел ни одного лопуха, это в России все лопухами заросло».

Но я все отвлекаюсь. Итак, первым поддержал меня в Литинституте незнакомый мне тогда Николай Томашевский. Но общая атмосфера была настороженной, ожидающей. Встретив меня в коридоре, тогдашний проректор Евгений Сидоров просил зайти к нему в кабинет. Стены небольшого кабинета были увешаны гравюрами с видами парижских бульваров и улиц, казалось, наш проректор уютно чувствовал себя здесь, как в маленьком Париже. Со временем он окажется сам парижанином, пройдя путь от ректора Литинститута до министра культуры России, а потом став представителем России в ЮНЕСКО. Он начал разговор с того, что назвал мою статью обаятельной, но, по его словам, я слишком подставил себя, тут же он заверил, что выступать против меня не будет, но просил, чтобы я в своем выступлении на Ученом совете, где будет обсуждаться моя статья, не упоминал в отрицательном смысле Троцкого. Что-то интригующее было в этом предупреждении: не поменялось ли сверху отношение к Льву Давидовичу? С этой мыслью я и ушел от Сидорова, гадая, каких можно ждать перемен.

Решил я встретиться с Михаилом Алексеевым, который по моей вине влип в историю, о коей он и не помышлял. По выходе в свет моей статьи он расхваливал ее на все лады разным лицам, начиная с руководителей Союза писателей и кончая даже моей дочерью Мариной (когда она вместо меня подошла к телефону), но вот грянул сигнал со Старой площади. После моей статьи роман Алексеева, по его собственным словам, «был вычеркнут из списка соискателей Ленинской премии». Градус расположения ко мне Михаила Николаевича естественно понизился, что я сразу же и заметил, войдя в кабинет главного редактора журнала «Москва». Шел я туда, как это ни странно показалось бы ему, чтобы поддержать его, может быть, нуждается в информации, какая у меня есть относительно нашего уже ставшего общим

дела. Но никаких вопросов у него ко мне не было, да и не чувствовалось никакого интереса к моему приходу, и когда я помянул ему о предупреждении Сидорова насчет Троцкого, Михаил Николаевич тут же быстро проговорил: «Не надо называть Троцкого, не надо!» И, не понимая опять-таки, почему нельзя называть Троцкого, полагая, что, вероятно, им известно то, чего мне не дано знать, — я счел разговор поконченным и ушел.

Уже не помню, по какому поводу встретился я в ту пору со Свиридовым Николаем Васильевичем, председателем Российского Госкомитета по печати. Николай Васильевич благоволил ко мне, не раз приглашал меня на беседы, когда готовил для какого-нибудь совещания документ, доклад, вроде, помнится, доклада о детской литературе. Присутствовал при этом главный редактор Комитета Петр Александрович Карелин, который тепло относился ко мне еще со времен его работы в «Известиях», с конца пятидесятых годов, где я иногда печатался. На этот раз мы были одни с Николаем Васильевичем, и как сейчас вижу его взгляд — пристальный и в то же время какой-то отсутствующий, какого я раньше никогда не видел у него. Он ни слова не сказал о моей статье, хотя я был уверен, что именно ею и были заняты сейчас его мысли, всей этой идеологией вокруг нее, вышедшей из стен ЦК, где он когда-то работал и токи которого как бы доходили до его кабинета. Интуитивно чувствовалась мною настороженность моего собеседника, и, чтобы не ставить его в неловкое положение, я простился с ним и, перед тем как выйти из кабинета, желая вывести его шуткой из смутительного состояния, проговорил громко и бодро: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Николай Васильевич реагировал на мою выходку так же, как в свое время военный писатель Василий Соколов, которому на его телефонный звонок в день Пасхи я крикнул приветственно в трубку: «Христос Воскресе!» — и ответом было молчание.

Впоследствии работавший в Комитете по печати поэт Артур Корнеев, хорошо знавший, по его словам, Свиридова, передал мне лестные слова Николая Васильевича о моей тогдашней «смелости» в разговоре с ним. От него же, Корнеева, я узнал, какой страх пережил Свиридов в дни августовского путча 1991 года: он боялся, что его арестуют, будут пытаться и расстреляют. Напомним, что по радио «демократы» призывали в те дни доносить на всех тех, кто поддержал гекачепистов.

Наступил, однако, день 20 января 1983 года, когда я должен был держать ответ за свою злополучную статью на заседании Ученого совета Литературного института. Двадцать лет работал я в Литинституте, вроде бы знал всех присутствующих, но что будут они говорить? Как меняется человек, оказавшись на трибуне, в обстановке официальной, с ее требованиями единогласия! Но вот смотрю на Владимира Федоровича Пименова, который, как всегда перед открытием собрания, заседания, по-орлиному оглядывает собравшихся, и на память приходит десятилетней давности история со статьей А. Яковлева «Против антиисторизма». Тогда он смягчил направленный на меня удар, и сейчас я почему-то ожидаю этого же. И что это так и будет, я почувствовал по началу же его выступления. Привычно начальственным тоном, двигая густыми бровями, он объявил «об одном обстоятельстве, которое имело место недавно», — о моей статье, критике ее в печати, и здесь я приведу (по стенограмме) его слова, которые, на мой взгляд, дают наглядное представление о нем как человеке. «Нам не нужно допускать такие ошибки: ведь мы не только писатели, критики, журналисты — мы еще и преподаватели, мы воспитываем молодых литераторов, молодежь! В статье Лобанова мы видим ревизию линии партии в коллективизации. Нельзя допускать нарушения законов историзма, нельзя делать никаких ревизий в этом вопросе... Ведь если бы не было колхозов — мы не победили бы в Великой Отечественной войне!

Не надо и неправильно было бы говорить о некоей «абстрактной» душе крестьянина. Душа — это то, что не стоит на месте, развивается диалектически, и игнорировать классовую борьбу, которая тогда шла по всей стране, — нельзя.

Да, тридцатые годы были сложными, но нечего сводить это время только к разрухе, только к кошмарам и голоду».

И уже после выступлений других ораторов, в своем заключительном слове, как ректор и ведущий заседание, Пименов сказал: «Все, что мы здесь сказали, Лобановым должно быть воспринято как серьезная критика. Мне хочется, чтобы он признал свои ошибки в критике Шолохова, в описании деревни тридцатых годов, коллективизации. Итак, Ученый совет сегодня совершенно справедливо признал статью М. П. Лобанова в журнале «Волга» неправильной и ошибочной. Заседание закрываем, повестка дня исчерпана».

Я и сейчас, читая все, что говорил тогда Пименов, чувствую, как не хотел он обострять разговор, придавать ему политический характер, даже слова «реvisions линии партии» воспринимались мною как проходные в общем строе его спокойной, можно сказать, лояльной речи. А ведь мог бы он, говоря о том, что мы не только писатели, но и преподаватели, воспитатели молодых литераторов, вспомнить ту давнюю историю с моим студентом Георгием Беляковым... Ту самую историю, которая доставила ему как ректору столько служебных неприятностей, идеологических проверок. Но об этом он не вспоминал, как будто ничего этого не было, так же как и на литинститутском партсобрании по этому нашумевшему делу я не услышал от него ни одного обвинительного слова в мой адрес как руководителя несчастного моего семинариста.

И с его словами о коллективизации я согласен – конечно, без нее мы не победили бы в Великой Отечественной войне! И тридцатые годы – это, конечно, не только разруха, не только голод, не только репрессии, но и невиданный массовый созидательный энтузиазм, небывалый для истории России доступ для народа к знаниям, образованию, поистине извержение из народных недр талантов во всех областях жизни – от государственной до культурной. И очистительные 1937–1938 годы, когда эти таланты были призваны крепить мощь страны, заменяя места устраненных разрушителей и болтунов троцкистского толка!

Колоритный был человек Владимир Федорович! Как я уже говорил, он был сыном священника, и это «изгойство» преломлялось в нем демонстративным, довольно забавным иногда «атеизмом». На партсобрании он как-то возмущался: «Вчера в общежитии захожу в студенческую комнату и вижу – читают! Что бы вы думали? Библию читают! Видите ли, заинтересовались Библией! Нечего им больше читать!» – и оглядывал ряды сидящих в зале с деланным театральным изумлением, – недаром в свое время был он директором театра Вахтангова, главным редактором журнала «Театр». В другой раз с той же трибуны поведал нам о том, как пошутил над ним Сергей Михалков недавно, во время открытия Всемирного конгресса защитников мира. «Сидим с Михалковым. Объявляют президиум. Михалков говорит: «Пименов, иди в президиум. Тебя назвали!» Смотрим: лезет в президиум поп Пимен!» – под смехок в зале закончил ректор Литинститута. Это – о Патриархе Пимене, кстати, на средства Патриархии и был организован этот конгресс. Когда мы вместе с Владимиром Федоровичем были в ГДР, кажется, в 1980 году, он на приеме в Лейпцигской ратуше нахваливал сидевшего рядом с ним руководителя отдела культуры горкома СЕПГ, ярко выраженного еврея, называя его «перспективным работником». «Неперспективные» немцы, мне показалось, довольно сочувственно реагировали на кадровый прогноз советского геноссе.

Родовое «изгойство» нисколько не помешало Пименову всю жизнь подниматься по служебной лестнице. Как не помешало священство отца А. М. Василевскому (он и сам окончил духовную семинарию в Костроме) стать одним из самых выдающихся советских военачальников, Маршалом Советского Союза. (Кстати, Сталин упрекнул Василевского за то, что он прервал связь с отцом-священником, посоветовал забрать старика отца к себе в Москву.)

Вообще Пименов – фигура характерная для сталинской эпохи и отчасти эпохи брежневской с ее «застоем», но никак не для хрущевской с ее гнилой «оттепелью» – но на этом я не буду останавливаться.

Вернусь к заседанию Ученого совета. После Пименова выступил завкафедрой советской литературы Вс. Сурганов. В Литинститут он пришел работать недавно, перевел его сюда проректор Александр Михайлович Галанов из пединститута имени Ленина. До этого заведующим этой кафедрой был Виктор Ксенофонович Панков, человек милый, всегда улыбающийся, но критик весьма всеядный, который в свои статьи, как в мешок, запихивал подряд всех чистых и нечистых, вопящих от соседства друг с другом, и завязывал это скопище узлом соцреализма. После смерти Панкова, услышав о называемых кандидатах на «освободившееся место», я пришел к Галанову и предложил пригласить на эту должность Александра Овчаренко. Александр Иванович не раз оказывал мне добрые услуги. Он был официальным оппонентом на защите моей кандидатской диссертации в МГУ. Написал положительную внутреннюю рецензию на мою рукопись, которая долго мытарилась в издательстве «Современник», после чего дело несколько продвинулось. Он предлагал мою кандидатуру в качестве руководителя аспирантов в Академии общественных наук при ЦК КПСС, хотя и безуспешно. Зав кафедрой в этой академии, знаменитый в писательских кругах «серый кардинал» Черноуцан поставил на моей фамилии крест, объясняя это тем, что у меня нет педагогического опыта (хотя я уже долгие годы работал в Литературном институте, где, кстати, работаю и теперь, более сорока лет, с 1963 года). Когда я заговорил с Галановым об Овчаренко, он с хитроватым пониманием взглянул на меня (дескать, знаю я вашего Овчаренко) и сказал, что есть более приемлемая кандидатура. Таким более приемлемым оказался Сурганов, который, став зав кафедрой, с помощью Галанова с его цеховскими связями переехал из Подольска в Москву, поселился в элитном цеховском доме по соседству с главными редакторами, партбоссами.

Первое мое впечатление о нем было как о человеке, который несколько ушиблен «пятым пунктом», в частности касательно русских. Как-то шла защита дипломных работ, выступал мой семинарист Муравенко и начал говорить о разнице между американской и русской литературой в пользу последней. Сурганов был оппонентом моего выпускника, и как же я был удивлен, когда он накинулся на него, как на «квасного патриота», «русского шовиниста». «Какой же он русский шовинист, когда он украинец, живет в Киеве!» – не выдержав, крикнул я. Неожиданно для меня Сурганов заметно смутился и не нашелся ничего иного сказать, как только: «Я не знал, что он украинец». Со временем я увидел, что он все-таки из числа «умеренных», а по поводу моей статьи резонерствовал об «искажении в ней общей картины литературного процесса».

Слово дали шолоховеду Федору Бирюкову. До этого он нашептывал в коридоре членам Ученого совета, что «надо спасать Лобанова», а теперь с ходу начал обвинять меня в клевете на Шолохова, на социализм, даже на трактор: «Ведь трактор – это идеологическое и политическое орудие! Поэт Безыменский, который побывал в годы коллективизации в деревне, так писал о тракторе...» И продекламировал с прыгающим от пафоса лицом стихотворение Безыменского о тракторе. Я слушал и не верил своим ушам – всегда льстил мне, призывал в коридоре «спасать» меня, а здесь такая злоба, откуда она? Эх, русачки мы, русачки! Чего стоят наши патриотические слова, когда мы в трудное время топим друг друга! Впрочем, можно иногда видеть, как из этой топи протягивается рука в знак запоздалого примирения. Тот же Бирюков спустя пятнадцать лет после описанной выше истории защищает вдруг меня в газете «Советская Россия» (13 ноября 1997 года) от А. Яковлева, вспоминает, как меня «немедленно пригласили для объяснения на партийную группу кафедры творчества. Он пришел, привел примеры, как высокопоставленный автор извратил его тексты, стараясь приписать всяческие грехи» и т. д. Да и я тоже, уже недавно, при встрече с ним почувствовал себя неловко за то нехорошее слово в коридоре, и мы мирно поговорили друг с другом, жизнь коротка, особенно в нашем с ним возрасте, и так много кругом взаимной неприязни.

Смотрю на Евгения Сидорова, который должен сейчас выступать. Вспоминаются слова, сказанные им при разговоре со мной в его кабинете, что он не будет выступать против. Но эта фраза почему-то прокрутилась в моем сознании с обратным смыслом: скажет же что-нибудь против. И почему-то я решил, что не пропустит Евгений Юрьевич то место в моей статье, где приводятся адресованные Зиновьеву слова Ленина о необходимости активизации массового террора в Питере в связи с убийством Володарского. И я как в воду глядел. Сказал обо мне добрые слова как о критике, как о преподавателе, и вдруг о том самом... Тонко сказал: есть в статье место, которое дает основание думать о Владимире Ильиче как о стороннике терроризма.

– Это не я говорю, – бросил я с места. – Я цитирую из книги Давида Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР».

– Тем хуже! – как-то молниеносно парировал Сидоров, как ракеткой в пинг-понге, что поставило меня просто в тупик.

Но в целом отношение его ко мне выглядело, говоря его любимым словом, толерантным. «Михаил Петрович Лобанов – человек уважаемый, он хорошо работает в институте, никаких административных мер мы применять к нему не можем и не будем. Но обсуждать книги и статьи, вызывающие споры в печати, мы должны обязательно». И в последней фразе назвал мою «главную идею» – «мечтательно-консервативной». Видимо, в этом была какая-то доля истины, хотя и было для меня странно...

Почему из такой мечтательной консервативности загорелся сыр-бор на самом верху партийной власти? Может быть, и там переоценивали возможности «русской почвенности», не веря в полную силу в то, что было уже явью, – в наличную реальность радикальную, имеющую давние революционные традиции и уже готовую перейти в новое свое состояние – «перестроечно-криминального» толка.

А в итоге-то могу сказать только доброе слово о «толерантности» ко мне Евгения Сидорова. Даже и когда я написал о нем в «Молодой гвардии» что-то «изящно-двусмысленное» по поводу того его «тем хуже», он не затаил обиду и, уже будучи министром культуры России, повстречавшись со мной во дворике Литинститута, рассказал мне о своей инициативе по некоторому улучшению пенсионной обеспеченности группы писателей-фронтовиков, в которую включил и меня, за что я, по своему инстинкту христианскому считать грехом неблагодарность, ответил ему благодарным письмом.

С обычной ко мне доброжелательностью выступил Виктор Тельпугов, заведующий кафедрой творчества, при этом, разумеется, оговариваясь, что статья моя «действительно вызывает определенные возражения с политической точки зрения», и тут же именую меня «нашим товарищем, прекрасным критиком, которого мы все любим и уважаем». Привожу здесь эти эпитеты, конечно, не ради дешевой саморекламы, а чтобы показать, насколько порядочным было поведение Виктора Петровича, как, впрочем, и некоторых других.

Как всегда, отличился Валерий Дементьев: статья Лобанова порочна своей антипартийностью, антиисторизмом; чему такой преподаватель может научить студентов Литинститута?

В заключение слово было предоставлено мне, и я зачитал следующий текст:

«Хочу поблагодарить за критику моей статьи «Освобождение», которая получила такой резонанс, которого я не ожидал. Я чувствую себя обязанным сказать несколько слов о замысле статьи. В основе ее – анализ романа М. Алексеева «Драчуны», затронувшего сложную, острую проблему первых лет коллективизации. Известно, что имели место две точки зрения о путях социалистического строительства в деревне. Все мы знаем позицию Ленина по этому вопросу. В своей статье «О кооперации» он говорил о необходимости перехода к социалистической деревне наименее болезненным путем, «наиболее простым, легким и доступным для крестьянства». Пока не будет создана материальная и культурная база для

такого перехода – «до тех пор это будет вредно, это будет, можно сказать, губительно для коммунизма». В статье «Странички из дневника» Ленин говорил о недопустимости задаваться «предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм».

Совершенно иной была позиция Троцкого, который требовал исключительно принудительных мер в отношении крестьянства, тотальной милитаризации крестьянского труда: «Утверждение, что свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного – было безусловно правильно в применении к строю феодальному, строю буржуазному, но не к социалистическому».

К сожалению, после смерти Ленина на отдельных этапах коллективизации скрытые троцкисты продолжали проводить линию Троцкого в вопросе о крестьянстве. В основе романа М. Алексеева и лежит эта трагическая ситуация – когда крестьяне пошли по новому пути. И, вместе с тем, столкнулись с троцкистскими методами работы в деревне. Наши идеологические противники – советологи – используют эти известные факты в выгодном для них антисоветском смысле. И заслуга М. Алексеева именно в том, что он не избежал этих фактов, а осветил их с позиции партийной и народной правды (и выбил тем самым возможность идейно спекулировать на драматических событиях нашей истории). Художническая принципиальность, проявленная автором «Драчунов», мне кажется, особенно насущна именно сейчас, когда партия безбоязненно обсуждает, не боится затрагивать болевые точки нашей истории, нашего современного развития.

Журнал «Волга», печатая мою статью о «Драчунах», естественно, ориентировался как на партийность позиции автора романа, так и на полную убежденность в искренности, идейную недвусмысленность моей позиции в отношении романа. Именно из указанной выше позиции по вопросу о крестьянстве я и исходил, когда писал свою статью. И если статья воспринята не так, как я хотел, – значит, я не донес до читателей свою мысль, излишне лаконичную, конспективную в некоторых местах. Тут есть над чем мне подумать, и я, безусловно, приму к сведению предъявленные мне упреки. Однако я могу искренне сказать, что никаких нигилистических целей я не преследовал в своей статье. Все, кто знает мою работу в критике на протяжении десятилетий, могут подтвердить, что мне всегда были глубоко чужды любые проявления диссидентства и я никогда не держал и не собираюсь держать идеологического кукиша в кармане.

Еще раз благодарю за критику, над которой я еще много буду думать и которая не пройдет для меня бесследно».

После Ученого совета предстояло мне еще пройти через партгруппу кафедры творчества. Здесь на меня накинулись Евгений Долматовский и Валерий Дементьев. Долматовский кричал: «Вы пишете, были троцкистские методы в коллективизации. Это клевета! Я сам организовывал колхоз!» Для меня это было сюрпризом! Пятнадцатилетний городской мальчик переделывал «темное» тысячелетнее крестьянство, командовал и учил, как жить и работать на земле! Дементьев в упор, как следователь, угрожающе допрашивал: «Вы признаете критику Центрального Комитета?!» И потом где только он не топтал меня: в издательствах «Советская Россия» и «Современник», в Госкомпечати, в Союзе писателей РСФСР, на всех заседаниях, в редакции журнала «Октябрь» (он был там членом редколлегии), где мне присудили премию за статью о В. Белове – к его пятидесятилетию – и тут же отменили, как только Дементьев устроил в редакции шум против меня.

Этот Дементьев в свое время, во второй половине шестидесятых годов, прочитав какую-нибудь очередную мою статью в «Молодой гвардии», останавливал меня при встрече во дворике Литинститута и скороговоркой хвалил ее, оглядываясь при этом, не идет ли кто-нибудь из них. Попросил он как-то меня написать рецензию на его книжку очерков о «памятниках культуры», но все это было так посредственно и безлико, «а-ля Русь», что у меня рука не поднялась писать об этом опусе. В те годы в Союзе писателей РСФСР мне было пору-

чено вести работу с молодыми критиками, и, естественно, я использовал эти свои обязанности для того, чтобы привлекать побольше русских в качестве руководителей, участников обсуждений, семинаров. Но в самом начале семидесятых годов с уходом, вернее, снятием с поста руководителя Союза писателей РСФСР Л. Соболева и приходом на его место С. Михалкова ответственным за работу с молодыми критиками сделали Валерия Дементьева, и все переменилось. Из состава членов бюро и совета по критике он убрал почти всех русских, и хотя меня это не коснулось, я не мог оставаться в этой компании. Замелькали одни и те же фамилии в роли руководителей критических семинаров, ведущих участников совещаний. Книпович – Перцов – Гринберг – Молдавский – Боров и т. д. И соответствующий отбор для систематически проходивших семинаров тех молодых зоилов, которые затем пополняют антирусскую орду в критике.

За моим делом в Литинституте, как мне рассказывал секретарь нашей парторганизации Н. Буханцов, внимательно следил Краснопресненский райком партии, требуя исключения меня из партии и снятия с работы, но до этого не дошло. И вне стен Литературного института было немало лояльных и сочувствующих мне. Владимир Лазарев на собрании московских писателей открыто выступил в защиту статьи и журнала «Волга», за что получил партийный выговор. Не скрывали своего положительного отношения к статье Вадим Кожин, Сергей Семанов, Юрий Лошиц, Юрий Селезнев, Марк Любомудров, Николай Кузин, из молодых – Сергей Лыкошин. Встретил я человеческую поддержку и со стороны Андрея Туркова, несмотря на разницу наших литературных позиций.

Выше приводились слова генсека Ю. Андропова в беседе с первым секретарем Союза писателей СССР Г. Марковым, что с выходом статьи «Освобождение» в журнале «Волга» партийный комитет в Саратове «должен еще принять меры». И меры были приняты. На бюро обкома партии тогдашний первый секретарь обкома В. К. Гусев добивался ответа: как все это могло произойти, как могла выйти такая статья? В местной партийной газете выступил ее редактор с самыми отъявленными политическими обвинениями в адрес автора статьи, журнала. Оказывается, Лобанова в Москве давно раскусили, так он, как вражеский агент, проник в «Волгу» и произвел эту идеологическую диверсию. Хотя никуда я не проникал, журнал «Волга» сам обратился ко мне с просьбой написать статью. На собрании местных писателей должно было бы, по обычаю того времени, повториться все то, что было сказано в столичной прессе и местным начальством. Но тут вдруг не все пошло по команде. Один из местных писателей, Василий Кондрашов, назвал статью правильной и заявил, что через пять лет отношение к ней будет совсем другое. Надо знать положение писателя в провинции, чтобы оценить такое мужество.

8 февраля 1983 года состоялось обсуждение моей статьи «Освобождение» на секретариате правления Союза писателей РСФСР под председательством С. Михалкова. Я думаю, любопытно было бы привести в сокращении некоторые выступления (по стенограмме).

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

8 февраля 1983 г.

Председательствует – С. МИХАЛКОВ.

С. МИХАЛКОВ. Товарищи!

Разрешите мне считать заседание секретариата открытым.

У нас сегодня секретариат должен быть ориентирующим нас на будущее и настоящим наших редакторов в связи с тем, что журнал «Волга» опубликовал статью Лобанова, которую Центральный Комитет партии определил как ошибочную. Обком партии вынес главному редактору Палькину строгий выговор, соответствующие взыскания полу-

чили товарищи, которые были причастны к публикации этой статьи. А выводы нам нужно делать здесь.

Статья Лобанова уже обсуждена, статья Лобанова получила соответствующую оценку в «Литературной газете», в «Литературной России», и, я думаю, мы не собираемся здесь воспитывать тов. Лобанова. Он достаточно взрослый человек. Это не новичок в литературной критике и литературоведении. В его статье ясно выражена его позиция, его точка зрения на нашу современную литературу. Можно сказать шире: это его мировоззрение. И поэтому воспитывать и учить тов. Лобанова мы не собираемся. Но поскольку мы ответственны за такие публикации в наших журналах, мы должны делать соответствующие выводы.

<...> Удар по нашей литературе нанесен через него, отталкиваясь от него, интерпретируя то, что вздумалось интерпретировать критику. Начиная с шолоховской «Поднятой целины» он проявил недоверие к писательскому слову, сказанному за все предыдущие годы. Я уж не говорю о том, что Лобанов одной фразой зачеркивает всю детскую литературу. По его мнению, такой литературы вообще нет. Но это пусть, Бог ему простит, такая литература есть! Лобанова не будет, а детская литература будет. Но это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.

Нам безразлично, что взгляд на нашу советскую литературу, на литературные явления становится материалом для проповедничества неверных идейных позиций в отношении литературы. Для нас безразлично то, что читатель и молодые писатели вводятся в заблуждение, и безразлично то, что тов. Лобанов преподает в Литературном институте. Вероятно, он и там знакомит своих студентов со своими теоретическими взглядами. <...>

Произведение современного писателя, писателя-коммуниста, произведение критика, очеркиста в нынешних условиях должно быть в какой-то степени маяком, маяком, по которому надо равняться, который указывает путь. И если этот маяк светит не туда, то оказывает ли он помощь нашему большому «кораблю»? Нет, наоборот, он сбивает его с верного пути. А мы рассчитываем наши журналы на широкую читательскую массу и должны понимать, что нельзя читателя сбивать с толку. <...>

Литература – есть часть общего большого партийного дела. А у нас то и дело появляются произведения, не являющиеся частью нашего большого партийного дела.

В.ДЕМЕНТЬЕВ...Шолохов <...> не мог просто так сказать, что питерский рабочий приехал учить земледельцев, станичников труду. Что же на самом деле происходит в романе? В главах 25, 29, 24 речь идет о том, что учат конкретно, как пахать, Семена Давыдова, причем учит его Разметнов, учит Любишкин. <...> Или другой пример: Кондрат Майданников прочел целую лекцию Семену Давыдову перед тем, как тому взяться за чапыги, он учил его, как нужно пахать на быках.

Так где же питерский рабочий учит станичников земледельческому труду?

В. ФЕДОРОВ. Это метафора.

В.ДЕМЕНТЬЕВ. Она неверна. Это вроде ложного маяка, идя на который корабль может подорваться. Это метафора, но нужно понимать, в каком контексте она должна быть. <...>

Дальше. Особенно мне близок А. Твардовский. У него вырывается клочок фразы, что Твардовский-де в период написания «Страны Муравии» прибегал к методу изображения или перевода реальности в план несколько условный и что этот метод в дальнейшем дал свои большие результаты.

Что же получается, по Лобанову? Получается, что Твардовский «Страной Муравией» открыл целую серию фальшивых произведений тем, что он отрывал все от действительности, от реальности и все переводил в условный план. На самом же деле все это не так, потому что категория условности у Твардовского – категория эстетическая. Это высказывание он употребил значительно позже, в своей биографии в 1954 году, когда в нашей литературе шла

дискуссия по поводу подобных изображений в литературе и по поводу реализма в литературе. <...>

Я не говорю о том, что перечеркиваются Камю, Маркес, перечеркивается Куприн, вплоть до московской школы. Во многих местах Лобанов нарочно темнит, то есть прибегает к формально нарочитым многозначительным ссылкам на франкфуртскую школу. Как будто никто не читал философов Мартина Хайдеггера, Маркузе, Адорно. Ни один не читал, только он прочитал. <...>

В некоторых местах концепция Лобанова сводится к тому, что в русской деревне было благолепие, все было прекрасно, но вторглась какая-то инфернальная сила – и все пошло кувырком. <...>

Я напому один эпизод. Один барин вблизи села По-кровское приказал разметать стог сена, который был собран из пятидесяти возов, как уверяли мужики. Этот барин долго спорил с крестьянами. И когда разметали один стог, в нем оказалось тридцать два воза, а не пятьдесят. С кем же это было? С Константином Ивановичем Левиным. И написал об этом Лев Николаевич Толстой. Так было. Такие были мужики, и таков их благостный лик, каким он и должен быть в нашем сознании.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Михаил Лобанов знал, на что шел. Статья осмысленная и осознанная. Это – поступок, и не нужно делать вид, что мы чего-то недопонимаем.

Я ее прочитал внимательно и не принял ее внутренне, принципиально и категорически. Считаю, что статья нанесла большой вред нашему литературному делу, нашей критике и нашему читателю. Очень жаль, что сегодня нет здесь Михаила Петровича, было бы правильней пригласить его сюда.

В.ДЕМЕНТЬЕВ. Он был на Ученом совете в Литературном институте, он ничего не принял.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Я не согласен с тем, что мы не должны воспитывать, не должны учить. Нужно бороться за каждого человека, и за Лобанова тоже. Нужно спорить, аргументировать и силой, и убедительностью фактов. Потому что Лобанов – это не просто Лобанов, это – тенденция. Нужно спорить и доказывать, нужно давать точную партийную характеристику.

Статья Лобанова написана просто <...>, надо отдать должное Лобанову – это его лучшая, очень сильная статья, потому что он шел здесь на бой. <...>

Практически круг за кругом снимается все, что дорого нам, что осталось во имя человечества. Сделано это своеобразно. <...>

Роман «Драчуны» написан как прелюдия к роману о Сталинграде. Люди, которые прошли через эти тяжелейшие испытания, жизнью своей спасли Отечество, страну.

Вот позиция автора романа Михаила Алексеева. Она вся обращена в будущее. Позиция же автора статьи Михаила Лобанова реакционно-романтическая, то есть в качестве позитива у Лобанова – позитив веховский. Эта статья – заключительный, завершающий аккорд развития Лобанова, которое он прошел за последние десять – пятнадцать лет. Это продолжение идеологии, которая вошла в русскую общественную мысль после революции 1905 года как попытка отречения от русских революционных традиций и поворота сознания в направлении защиты реакции. Кокетничанье с веховской линией в конечном счете, будучи логическим продолжением, приводит именно сюда.

В этом смысле, я бы хотел сказать, данная статья – это, не просто факт плохого редактирования журнала «Волга».

Эта статья свидетельствует об очень трудных, в какой-то степени кризисных, явлениях в нашей критике, теоретическом мировоззренческом разброде... Н. ДОРИЗО. Я согласен с тем, что говорил Феликс Кузнецов, особенно в последней части. С одной только фразой я не соглашаюсь. Я имею в виду ущерб, нанесенный Алексееву. Удивительная история произо-

шла с этой статьей. У меня полное ощущение, что статья написана не о романе Алексеева, который я прочитал, а совсем о другом. И эти две вещи существуют порознь. <...>

У Алексеева за плечами большая литература, тот же «Вишневый омут». В романе «Драчуны» Лобанову нравится только одно, что Алексеев дошел до вершины, когда он показывает голод. Но это одностороннее и неверное отношение к литературе, которое не может не вызывать чувство внутреннего желания спорить. <...>

Насчет того, что нет у нас детской литературы, – я об этом даже не хочу разговаривать. Говорить об этом – это значит ломиться в открытую дверь. У меня лично, как у человека, больше всего вызвала возмущение странная и неверная трактовка Лобановым рассказа Платонова «Возвращение».

Это, товарищи, – Ремарк, а не Платонов. Это – западная литература. <...>

Если бы говорил человек, который не прошел войну... У нас есть фильмы, созданные людьми, которые не были на войне, и это чувствуется. Но Лобанов воевал, а позиция его вызывает чувство спора. <...>

Е. ИСАЕВ. «Волевое начало», – осуждает Лобанов. Смотря какое волевое начало. Есть волевое начало дьявола, и есть волевое начало Бога. Это разные вещи. Если бы не волевое начало, не знаю, сидели бы мы за этим столом.

В каждом человеке, в каждом обществе есть волевое начало. Это как часть разума, как часть основы. Это государство, прежде всего. Мы еще государство не отменили. Это партийное начало.

Возьмите ту часть статьи Лобанова, где он подвергает критике большое, громоздкое строительство, говорит, что в громоздком строительстве мы потеряли человека. Но если бы к 1929 году мы не начали делать большое железо, что мы получили бы в 1941-м? <...>

Если бы не было волевого начала, мы бы экономически и технически не осилили фашизм. У нас в литературе, на мой взгляд, упущена одна очень большая тема – как, каким образом была подготовлена энергетическая система нашего государства, если мы, отступив до рубежа Волги, Москвы, Ленинграда, сумели перевооружить армию, потеряв практически все промышленные центры в европейской части. <...> Так что волевое начало – его нельзя ставить в такое неудобное положение, держать где-то в уголке.

У Лобанова в статье совершена, на мой взгляд, ревизия основной, генеральной исторической идеи всего нашего государства и всей нашей деятельности, и эта ревизия произошла, к сожалению, на фоне прекрасного романа Алексеева. Мы должны Алексеева защитить и всю нашу литературу от субъективных толкований М. Лобанова.

Ю. ГРИБОВ... Мне кажется, в этом нашем заседании нам надо сказать о нашей линии. Между прочим, Лобанов делает всегда такой вид, что он знает что-то такое, о чем не знают другие. А мы знаем, что Лобанов – способный критик. Он учит молодежь и может ее убеждать. Я считаю, что наше мнение об этой статье должно быть самое отрицательное и мы должны серьезно его высказать...

Н. ШУНДИК... Я не знаю, возможно, от чего-то и надо освободиться Михаилу Алексееву, всем, видимо, нам надо кое от чего освободиться, что стало грузом, но только не от метода диалектического мышления. Лобанов пишет: «Если писатель будет честен перед памятью своих погибших друзей, как он честен в «Драчунах» перед памятью погибших земляков, то новый его роман о войне может оказаться и новым словом о ней».

Но как понимать, по Лобанову, честность М. Алексеева в «Драчунах», если он назвал это произведение «нравственным судом» над его остальными книгами о деревне? Не метафизическим ли аршином измерил Лобанов «Драчунов»? <...>

И в заключение еще несколько слов вот по какому поводу.

По-моему, мы достаточно сильны, чтобы ошибки подобного рода осмысливать с достоинством, без зубодробильного пафоса, по-товарищески. Но еще нужна хорошая озабочен-

ность, умение и желание не потешать наших врагов, не давать им повод бесноваться по этому поводу: вот, мол, смотрите, расправа над инакомыслием. А у нас, господа, никакой расправы. У нас мужской разговор. И уж будьте уверены, мы в своих делах разберемся сами по всем правилам нашей безукоризненной чести.

С. МИХАЛКОВ. Ошибки Лобанова не случайность, это его мировоззрение, это – тенденция, это его позиция, причем за ним идут и другие.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Не так уж много.

С. МИХАЛКОВ. Но все-таки идут.

М. АЛЕКСЕЕВ. Некоторые товарищи были участниками расширенного секретариата Московской писательской организации, когда роман «Драчуны» выдвигали на премию. Там выступило семнадцать ораторов, и одним из этих ораторов был автор нашумевшей статьи. Он выступал устно, потому несвязно и трудно – трудно было уловить смысл. Но в зародыше в его выступлении было все то, что появилось в этой статье. Желая мне польстить, он сказал, что после появления романа «Драчуны» писать по-прежнему уже нельзя. <...>

Там выступал Кузнецов и говорил, что это не метод – противопоставлять всех и вся. Но, очевидно, секретарям и участникам этого важного заседания будет полезно узнать одно обстоятельство: роман «Драчуны» вышел в начале прошлого года, и с тех пор я получил полторы тысячи писем. И из этих полутора тысяч писем нет ни одного, которое выступило бы против идеологии героев этого романа.

И вторая, не менее существенная деталь. Казалось бы, раз Алексеев написал тяжелые детали о 1933 году, западные издатели должны были бы наброситься на этот роман. Ничего подобного! А вы знаете, как они подхватывают, если есть хоть маленькая пропагандистская крупинка против советской власти.

Если вы помните, противопоставление не только «Драчунам», но и «Поднятой целине» в статье наличествует. А ведь Лобанов мог бы заметить, что в «Драчунах» учительница читает «Поднятую целину» и какой восторг это вызывает у героев. <...>

По поводу двух статей, появившихся в «Литературной газете» и «Литературной России». Мне показалось вначале, что, может быть, не нужно сразу из двух стволов ударять по Лобанову, потому что «Литературная газета» – это главный калибр, а потом уж «Литературная Россия». Хотя было бы странно, если бы наша российская газета промолчала.

В чем я убежден: «Литературная Россия» могла бы подобрать критика более спокойного, более объективного и вдумчивого, чем Оскоцкий. Мы боимся признаться, что групповщина у нас все-таки существует. Даже «Литературная газета» и та вынуждена заметить, что этот критик за одни и те же ошибки разных писателей судит по-разному: одних карает, других милует. Пусть статья была бы в этом же смысле, но более спокойная, более объективная. В ней слишком много крика. На какой-то пронзительной ноте она написана. Если у Николаева хватило такта написать, что на роман Алексеева была большая критика в газетах и журналах, то Оскоцкий этого не заметил. Он готов меня соединить, слить воедино с Лобановым. Давняя сложившаяся неприязнь Оскоцкого прощупывается и тут. Я не говорю, что такие статьи не нужны. Они нужны. Но хотелось бы, чтобы это был другой, более объективный критик. <...>

Я был бы нечестен, если бы сказал, что статья совсем неинтересная. При первом чтении она действует очень сильно. Лобанов – талантливый критик, от этого никуда не денешься. И потому статья произвела большой резонанс.

Ю. ДРУНИНА. Феликс Феодосиевич сказал, что Лобанов знал, что идет на бой. У меня не было при чтении статьи такого ощущения. Я думаю, что он шел на сенсацию. Статей с элементами этого было довольно много. И я буду нечестной, если не скажу, что они мне нравились, потому что это был период, когда у нас все было благостно, прямолинейно, плоско. И когда появлялась такая критика, это было приятно, что мы не боялись ни в глазах собствен-

ных, ни в глазах наших друзей в кавычках никаких трудностей, не казались китайцами. Но нужно учитывать время, когда выходят те или иные статьи. Сейчас время сложное. Наступило время «холодной войны».

У меня нет ощущения, что Лобанов хотел похвалить Алексеева.

Был трудный период в нашей истории. 33-й год. Голод. Но уж если говорить об испытаниях, почему же Лобанов не говорит об испытаниях войны? Снова у него получается перекос. <...>

Я вовсе не призываю к примитивному, но надо нам подумать об общей линии. Здесь не может быть двух мнений...

В. ФЕДОРОВ. Лично меня статья критика Лобанова очень огорчила, потому что я к Лобанову относился всегда с симпатией. Какая-то материальность в его размышлениях всегда присутствует, и в этой статье она также есть.

Я думаю, что статья написана не в расчете на сенсацию, он достаточно зрелый человек и искренний в своих верованиях, а какие это верования – это вопрос другой. <...>

Второе, на что я хотел бы обратить внимание: очень грустно, да и не только грустно, прямо слов нет, когда вы читаете статью Лобанова и видите, что как будто изнутри она патриотична, и вы клюете на это. Вам кажется, что как будто он смелый человек, но какая же это смелость? Когда он бросает какие-то метафорические сравнения, что в революции происходили какие-то ужасные вещи и народ страдал, – и в это же время появился Павлик Корчагин. У Лобанова это как-то так высвечено, что уходит Павлик Корчагин...

Ю. БОНДАРЁВ. К выступлению наших мудрых критиков добавить здесь нечего с точки зрения эстетической и теоретической. Мне хотелось бы сказать вот о чем. Жизнь дает повод для суеты, для злобы, для печали и радости, для ностальгии, наконец, для самого главного – я имею в виду состояние человека, когда он задумывается о смысле жизни. И думаю, что не нужно здесь вести разговор о неких сиюминутных маяках, а надо судить и ориентировать себя в реальности по звездам, по созвездиям, по главному в жизни. <...> Юлия Друнина была права: мы живем в тревожное время. Упаси нас Бог от стереотипного мышления – мысли по одной мерке. Я за дерзость в критике. А это разговор о жизни, о счастье, о смерти, о любви, ненависти и пр. Это ориентация по звездам.

А. АЛЕКСИН. Мы выдвинули роман Михаила Алексева «Драчуны» на соискание Ленинской премии и правильно поступили, ибо это – явление в нашей литературе.

Я считаю, что статья М. Лобанова по сути дела никакого отношения к роману не имеет. <...>

Попутно и походя критик изничтожает и нашу прославленную на весь мир детскую литературу – литературу Аркадия Гайдара, Корнея Чуковского, Виталия Бианки, Николая Носова...

В. ПОВОЛЯЕВ. Лобанов – критик смелый, злой и умный.

Когда мы выдвигали произведение Алексева на Ленинскую премию, мы говорили, что герои его, мальчишки 1933 года, были потом участниками Великой Отечественной войны. Поэтому попытка Лобанова как-то заслонить эти вещи вызывает у нас совершенно справедливую тревогу.

Я присоединяюсь к высказыванию Друниной, что удар был нанесен всем нам. Может быть, критик занял такую позицию, что надо сталкивать всех лбами, и тем самым он старается завоевать для себя дешевую популярность?

Ю. СБИТНЕВ. <...> Я прочитал статью Лобанова с величайшим интересом. Дал мне прочитать ее М. Н. Алексеев, и я ее прочитал, повторяю, с большим интересом. Я увидел, что это статья, мимо которой мы не можем пройти. <...>

Что в этой статье есть? Нет там никакой бердяевщины, никакой почвенности. Есть только лобановщина. Все подразумевают какую-то основу, какую-то выстроенную систему. Там системы никакой нет. Там крестьянин убивается.

А он давным-давно не такой, каким его представляет Миша Лобанов. Он не может быть почвенником, потому что такой крестьянин сто пятьдесят лет отсутствует. <...>

Литераторов, которых совершенно верно и костромской критик Дедков рубил под корень, мы взяли под защиту. Мы говорим: чеканная проза Афанасьева или необыкновенные экзерсисы Кима, то есть я расцениваю это как выходки, совершенно непонятные критике.

Обрадовала меня эта статья тем, что нам надо заниматься нашим хозяйством очень серьезно...

Ф. КУЗНЕЦОВ. Мазохистская радость, надо сказать.

Ю. СБИТНЕВ. Не случайно было постановление о критике. Мы говорим: мы выполняем его прекрасно. А что прекрасного? Наша литература, периодическая литература, которая существует сейчас, не освещена никак...

А. КЕШОКОВ. Когда мы говорим о выдающихся, известных литературных образцах русской литературы, мы непременно затрагиваем и задеваем и художественные образцы национальных литератур, потому что многие из них возникли под непосредственным влиянием русской литературы. <...> Я хочу сказать, что, замахиваясь на русских писателей, Лобанов также замахивается и на национальную литературу.

Критика должна быть преисполнена любви и уважения к тому предмету, который становится предметом исследования, то есть критика должна быть преисполнена любви к литературе, и прежде всего к носителям этой литературы. Без этой любви и уважения критика может быть только субъективной. Эта статья при всех ее других недостатках лишена любви и уважения к литературе вообще и к писателю в частности. Вот в этом, как мне кажется, и состоит вредность этой статьи.

А. ЧЕПУРНОВ. В критике недопустим внеисторический, ненаучный подход, отсутствие диалектического анализа. В статье Лобанова «Освобождение», помещенной в журнале «Волга» (№ 10 за 1982 год), допущено внеисторическое сопоставление произведений разных лет. Подобный метод, намеренно или случайно, может иметь провокационный характер. Искажая истинный, конкретной эпохой порожденный пафос писателя, этот метод приводит порою к неоправданному столкновению крупных явлений нашей литературы. <...>

Все это заставляет нас не мириться и не идти на компромисс со взглядами, идущими вразрез с марксистско-ленинской эстетикой.

А. БЕЛЯЕВ. Разговор, который сегодня состоялся на секретариате Союза писателей, показал высокую политическую зрелость наших писателей, и все выступившие здесь товарищи дали верную и точную, партийную оценку статье Лобанова.

Здесь некоторые товарищи говорили, что с огромным интересом читали эту статью. Я должен сказать, что я читал эту статью со все возрастающей тревогой, так как видел, как все глубже и глубже Лобанов запутывался в поднятых им вопросах. Здесь уже отмечали, что статья, в сущности, ставит под вопрос пользу и необходимость проведенного социалистического переустройства нашей деревни и советскую литературу, которая болела за это социалистическое переустройство и поддерживала его. Несостоятельна и сама методология этой статьи. Она далека от марксистско-ленинской и выявляет слабости мировоззренческой позиции автора.

И очень хорошо, что Московская писательская организация собирается дать бой этим нездоровым тенденциям, которые время от времени проявляются в литературе и которые, надо сказать, находят должную оценку у литературной общественности.

Я присутствую на втором секретариате, где поднимаются подобные проблемы. Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что статья Лобанова была опубликована в октябре

месяце. Прошли октябрь, ноябрь, декабрь, январь, все читали с интересом эту статью и молчали. Потребовалось решение ЦК партии, чтобы этот интерес повернулся в правильную сторону. Я понимаю, что нужно было время, чтобы переварить все эти «концепции», но ошибочные тенденции, которые уже не раз проявлялись у Лобанова, они всем давно известны. О них говорили, о них писали, и на статью надо было сразу обратить внимание и забыть тревогу.

Я не в качестве упрека секретариату это говорю. Упреки надо адресовать членам редколлегии журнала «Волга». Получив эту статью в октябре, они должны были своевременно обратить на нее внимание и дать ей оценку.

Не может не возмущать недостойное обращение Лобанова с молодым талантливым писателем Крупиным. Лобанов ругает его за то, что Крупин честно, по-партийному, по-человечески отнесся к критике своих товарищей и воспринял ее. И непонятно, за что его Лобанов подвергает такому грубому и беспрецедентному поношению в своей статье.

Это должно быть приостановлено. Так мы далеко не уйдем. Тут говорили уже: непонятно, откуда у Лобанова столько презрения к писателям.

Я согласен с Юлией Друниной, что пора кончать играть в политические игры. Они до добра не доведут. Постановление ЦК КПСС о журналах требует от секретариата СП РСФСР сделать очень серьезные выводы и по каждому российскому журналу внимательно разобратся.

Обратите внимание, все скандальные публикации, не прошедшие в Москве, где-то появляются на периферии. На моей памяти второй такой разбор. Один по «Простору», когда была прекращена публикация. И второй по журналу «Волга», где очень некритически отнеслись к столичному критику и прямо «с колес» он пошел в печать. Редактор журнала членов редколлегии не поставил в известность – привыкли.

Я думаю, что постановление секретариата СП РСФСР будет разослано всем журналам, и с учетом последнего постановления ЦК о творческой связи журналов с практикой коммунистического строительства, необходимости повышения требовательности, дисциплинированности оно будет помогать нам успешно выполнять решения XXVI съезда КПСС и указания ЦК о высокой мере ответственности каждого за порученное дело.

С. МИХАЛКОВ. Мы, дорогие друзья, собрались сюда не для того, чтобы судить Лобанова, а для того, чтобы обсудить работу редакций наших журналов, ошибку редакции «Волги». Я думаю, что «Литературная Россия» может дать хороший, подробный отчет о нашем секретариате.

Возражу Юрию Бондареву. Когда я говорил о маяках, я имел в виду идеологические маяки. А наши идеологические маяки не могут превратиться в столбы.

Тут кто-то сказал: надо бороться за Лобанова. Сегодня надо скорее бороться за молодого писателя Крупина. У Лобанова сложившийся характер, философия.

Мы рассчитываем на Московскую организацию, потому что это самая сильная организация. Мы рассчитываем на то, что там надо дать бой выступлениям, подобным лобановской статье. Не нужно закрывать глаза на то, что статья Лобанова, напечатанная в «Волге», имеет и своих апологетов, которые его поздравляют с этой статьей, чьи групповые интересы и чьи тенденции он разделяет. Они разделяют его позицию. Есть люди, которые находятся в боевой готовности, но не на нашей, а на его стороне. ЦК партии посчитал статью «Освобождение» вредной. Если бы она была безликой, может быть, ЦК не стал бы обращать на нее такое внимание. Но она вредна, потому что она спекулятивно-провокационна. А по отношению к Алексееву критик поступил бесчестно. Лобанов не такой глупый и необразованный человек. Он понимал, что делает.

Я считаю, что убеждать его не нужно. Убеждать нужно редакторов быть внимательными, заведующих отделами критики, молодых литераторов, которые следуют за такими

критиками и писателями, которые исповедуют эти же позиции. Мы не в детском саду, чтобы перевоспитывать Лобанова! Да, спорить с ним нужно, но убедить его – вы не убедите. Дементьев сказал уже, что на совете в Литинституте он не отказался от своей позиции.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Бороться против идей, но за людей.

С. МИХАЛКОВ. Посмотрим, какие будут результаты. Напишет ли он что-то честное и искреннее? Если он напишет это сейчас, это будет неискреннее.

Низвергаются маяки. С каких позиций? С наших позиций? С партийных позиций? Пересматривают Горького. Не успел Симонов умереть, его уже ниспровергают. Кожин ревизует всю нашу литературу об Отечественной войне. Что это такое? ЦК партии не будет спускать нам таких идеологических просчетов, серьезных ошибок. Редакторы должны отвечать.

Мне кажется, сегодня прошел деловой секретариат, все выступили и сказали свое мнение. Мне очень жаль, что Викулов не пришел.

Ю. БОНДАРЕВ. Викулов свое отношение уже высказал.

С. МИХАЛКОВ. Во всяком случае, было бы хорошо, если бы он тоже присутствовал, потому что «Современник» мы обсуждали на секретариате примерно за такие же ошибки.

Я предлагаю принять следующее постановление секретариата:

«Проект постановления секретариата правления Союза писателей РСФСР от 8 февраля 1983 года.

В постановлении ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» указывается, что редколлегии, партийные организации журналов и авторский актив призваны работать с большей мерой ответственности. Отмечается, что на страницах журналов появляются историко-литературные и литературно-критические работы, авторы которых явно не справляются со сложным материалом, обнаруживают мировоззренческую путаницу, неумение рассматривать общественные явления исторически, с четких классовых позиций.

Эти положения постановления ЦК КПСС были нарушены редакцией журнала «Волга», опубликовавшей статью М. Лобанова «Освобождение» (Волга. 1982. № 10).

Обсудив статью М. Лобанова «Освобождение», секретариат правления Союза писателей РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Считать серьезной ошибкой журнала «Волга» публикацию статьи М. Лобанова «Освобождение».

Обратить внимание главных редакторов на их личную ответственность, а также на ответственность редколлегий и редакционного аппарата за качество и идейно-художественный уровень публикуемых материалов.

Активизировать работу редакционных коллегий, обеспечивая тем самым полную коллегияльность при отборе материалов для печати.

Проводить мероприятия по неуклонному укреплению трудовой дисциплины в аппарате редакций.

Данное решение довести до сведения всех руководителей писательских организаций, главных редакторов и редакций литературных журналов и альманахов СП РСФСР».

Вот такое постановление есть предложение принять. Нет возражений? (Нет.)

Я считаю, что члены редколлегий должны также отвечать, и, если они не читают материалы и потом, после опубликования ошибочных, идейно порочных статей, не высказывают своего отношения у себя в редакции, если они замалчивают это, они должны или уходить из редакции, или нести ответственность.

Я очень благодарен Ф. Кузнецову за его выступление и что на Московском идеологическом активе будет дан бой этой статье, а у вас есть могучие критические силы.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Надо найти серьезных критиков, а это – проблема. Здесь создалась очень сложная ситуация.

С. МИХАЛКОВ. Но, дорогой Феликс, почему нельзя попросить выступить на этом активе Суровцева, Кузнецова, Николаева, Дементьева, Озерова, Туркова и других?

На этом разрешите закончить обсуждение.¹

* * *

Интересные встречи и разговоры были у меня впоследствии с участниками этого обсуждения. Назову поименно некоторых из них.

Н. ДОРИЗО. В Дом литераторов я не любил ходить и крайне редко, случайно оказывался там. Но однажды зашел туда посидеть за столиком в ресторане с дочерью Мариной и моими добрыми знакомыми – профессором-медиком Александром Сергеевичем Бобровым и его милой женой, тоже медиком Людмилой Михайловной. У себя дома она была такой гостеприимной хозяйкой, что казалось, ей некогда присесть к столу, и теперь мне было приятно видеть, как, веселая, не занятая гостями, она отдыхала в нашей маленькой компании. Доволен был и Александр Сергеевич, похваливая давно не пробованную копченую «сталинскую колбасу», аппетитно жуя и дивясь качеству писательской трапезы. Марина как-то не по возрасту неумело, безразлично отхлебывала маленькими глоточками шампанское из бокала, еще не привыкшая к новизне обстановки. А я, чувствуя почти домашний уют за столиком, думал, что и в этом писательском окружении можно уединиться и хорошо провести время. Но недолго длилась эта идиллия.

Неожиданно около стола появился Николай Доризо. Глядя на меня туповатым, нетрезвым взглядом, он протянул мне руку: «Привет, Лобанов!» Не вставая с места, я громко ответил, что не подаю руки тому, кто в мое отсутствие обливал меня грязью.

– Сто граммов без сдачи! – крикнул Доризо стоявшей рядом официантке, выхватывая из кармана бумажку и тут же требуя ответа, крича, почему я не подал ему руки. Я повторил свои слова.

– Мерзавец! – прохрипел он, багровея мясистой физиономией, и, когда я вскочил, он быстро отпрянул в сторону, встал около женщины, видимо, из администрации ресторана, что-то осторожно говоря ей. Тут я заметил, что сидевший поблизости от нас за столиком Евтушенко с любопытством поглядывал в нашу сторону, став зрителем забавной сцены. Сдерживавший меня Александр Сергеевич жаждал узнать, кто же это такой – нарушитель нашего спокойствия.

– Слышали такую песенку: «Парней так много холостых, а я люблю женатого»? Так вот автор этой песенки по фамилии Доризо и есть нарушитель нашего спокойствия.

– Доризо? Боже мой, разве я могла бы подумать... такая песенка... – искренне сокрушалась Людмила Михайловна, а ее супруг, как-то двусмысленно улыбаясь, покачивал головой: «Вот это Доризо».

Николая Доризо я знал давно, еще по своей работе в ростовской газете «Молот» в начале пятидесятых годов, когда он печатал в ней свои стихи, выпускал в местном издательстве свои стихотворные сборники. Помню, в начале 1953 года, возвращаясь из Ростова в Москву, я оказался в одном купе с какими-то московскими литераторами, к которым то и дело заходил Доризо, ехавший в том же вагоне. Он только что познакомился с ними и все вставлял в разговор, какие остроумные анекдоты он слышал от «Миши Светлова». Видно

¹ Из выступления на состоявшейся в конце 1990 года в Италии на Капри конференции, посвященной религиозно-культурным проблемам.

было, что он уже знает, как входить в литературу, что умение «почесать языком», рассказать байку, завязать связи – зачастую важнее самого кропанья стихов.

Вскоре после стычки в Доме литераторов в мае 1985 года я очутился вместе с Доризо в группе писателей, поехавших в Париж. Там он большей частью, сказавшись больным, отсиживался в гостинице. А когда мы были в маленьком левом издательстве с выставленными книгами Троцкого и других революционеров и издатель вспоминал своих знакомых из московских писателей, то называл он и отсутствовавшего Доризо.

НИКОЛАЙ ШУНДИК. На VIII съезде писателей РСФСР, в 1989 году, С.В.Михалков принес мне извинение за свою, как он выразился, «необоснованную критику» моей статьи «Освобождение» на секретариате СП РСФСР в феврале 1983 года. Выступивший тогда же на съезде Вл. Бондаренко сказал с трибуны, что невредно было бы и другим извиниться, назвав в их числе и Н. Шундика. И я тогда же поведал, как Николай Алексеевич, встречаясь со мною, бьет челом, чуть не касаясь головой земли, и этим самым как бы уже подает сигнал к согласию. И вот на трибуну важно поднимается Шундик и, водрузив очки на косящие глаза, сообщает залу, что он человек вежливый, всегда здоровался и будет здороваться с Лобановым и хочет сейчас сделать то, что его давно мучит, – извиниться перед Кардиным, которого он в свое время несправедливо критиковал за известную статью в «Новом мире». В статье той космополит Кардин ядовито иронизировал над русской, советской историей, пустив в ход эффектную фразу, что «никакого выстрела «Авроры» не было». Не было и самого Кардина в зале, где извинялся перед ним «русский патриот», но это и не имело значения, главное – зафиксировано извинение перед евреем, а значит, снято возможное подозрение в «шовинизме», «антисемитизме», что страшнее всего для карьериста. А какая польза от извинения перед Лобановым? Одна морока. Вот так и лавировали эти казенные «русские патриоты», всегда готовые ради секретарства, Государственных премий, «собраний сочинений» идти на поклон к кардиным.

ЮРИЙ ГРИБОВ. Осенью 1999 года мне довелось отдыхать вместе с Юрием Грибовым в санатории «Карачарово» Тверской области. Жили мы с ним три недели в одной комнате, что было для меня не очень удобно, потому что мне надо было писать, а какое писание при соседи? Поэтому я уходил в лес, подальше от аллеи, где он мог меня увидеть и опять затеять все один и тот же политический разговор. А в комнате, прохаживаясь взад-вперед мимо меня, он выставлял перед собой ладонями вверх руки с трепещущими пальцами и допрашивал неизвестно кого. Откуда появилась Хакамада? Почему Немцов говорит, что они люди – не бедные? Откуда у него деньги? Почему народ молчит? Почему нет наших, русских террористов? Я помалкивал, зная, что в противном случае будут только плодиться эти бесконечные «почему».

Он рассказывал интересные истории из своей жизни в послевоенное время, когда младшим лейтенантом служил в Германии, познакомился там с немецкой девушкой и как уже спустя десятилетия встретился с нею и ее мужем во время своего приезда в ГДР. «Я говорил Бондареву: тебе надо было писать с меня, как это было, а не придумывать любовь лейтенанта Княжко к немке». Слушая Грибова, я почти восхищался его свободой поведения – и когда?! где?! – в то время, как я, его одноклассник, студентом корпел над книгами в МГУ после ранения и контузии на фронте.

Но больше всего он вспоминал свое секретарство. Какое было время! Он был секретарем СП СССР по издательским делам. Когда уезжали куда-нибудь Марков или Верченко, он принимал иностранные писательские делегации. «Надо было их занимать разговором часа два-три за столом. За мной была зарезервирована бутылка шампанского, ничего другого не пил. Сажу с ними, выйду по делам, вернусь, опять разговоры, налью шампанское из своей бутылки».

«Четыре месяца в году секретарям союза полагался отпуск, бесплатные путевки в санатории, – вспоминал Юрий Тарасович. – У меня ежегодно был такой распорядок отдыха. В марте – Пицунда. В мае – Карловы Вары. В августе – сентябре – правительственный санаторий «Объединенные Сочи» в Сочи. Там видел через железную решетку, как ходил к морю по лесенке Брежнев, махал рукой. В ноябре – декабре – Дубулты.

Рядом была правительственная дача, видел, как гулял Косыгин».

Вдруг задумавшись, Юрий Тарасович произносил тихо: «Жена у меня умерла в прошлом году. Плохо без нее». Видимо, это точило его, и казалось, он отгонял мысли о жене воспоминаниями о том, где, в каких заграницах, в каких местах нашей страны он бывал и чем там его угощали. Сейчас, при «демократах», будучи на голодном пайке, когда-то сытым писателям остается только предаваться ностальгии по прежним временам. Итак: в Чехословакии – пиво и горы мяса. В Италии его учили, как надо чистить апельсин – срезать верхушку, надрезывать кожуру на дольки. На Кубе пили ром в смеси – двести граммов желтого и пятьдесят граммов гранатового сока с прибавкой травки – и двумя кусочками льдинки. В Румынии пили вино опозшты – «мы говорили оболдэшты – голова ясна, ударяет в ноги».

Во Вьетнаме – крабы, кальмары. «Как нас принимали под Парижем французские коммунисты, сколько было вина!» В Казахстане секретарь обкома пригласил Юрия Тарасовича к себе на дачу и угощал жеребенком (а гость думал, что это телятина). В Бурято-Монголии секретарь обкома угощал его пареными пельменями. В Костромской области председатель колхоза послал за ящиком пива, заедали его свежей копченой свиной. В Пошехонье на сырном заводе угостили ложечкой закваса с бактериями – очень полезная штука, этой ложечки хватает на бочку сырной массы. Об этом Грибов написал в «Правду», когда был там спецкором. Прочитал министр пищевой промышленности, позвонил ему и сказал: приезжайте на любой завод выбирать любой сыр.

Голова шла у меня кругом от этого гастрономического клубления и винных паров, пока вдруг не отрезвел от мысли: чем-то важным, видимо, приходится человеку платить за искус подобных маленьких праздничков, которые остаются в памяти разве что забавами, когда нас постигают утраты.

ЕГОР ИСАЕВ. Прихожу домой, жена говорит: «Звонил Егор Исаев, приглашает на свой юбилей. Сказал, что не представляет его без тебя». Знаю Исаева с конца пятидесятых годов, когда он еще работал в отделе поэзии издательства «Советский писатель», читал на ходу отрывки из своей поэмы «Суд памяти», которую долго писал. Мне нравились в ней стихи о нашей планете – Земле, несущейся в мировом пространстве, увиденной как бы с космической высоты. Меня всегда восхищало его устное словотворчество, неиссякаемость образного словоизвержения, выступал ли он с трибуны, на эстраде или же импровизировал в разговоре. Мне даже кажется, что он не говорит, а именно импровизирует, кто бы ни был перед ним и о чем бы ни шла речь. Иногда так увлекается, что даже как бы и не воспринимает слушателя. В таком положении однажды оказался я. Еще недавно выходила «Библиотека российской классики» (ныне деятельность этого уникального по размаху издания приостановлена из-за финансовых трудностей). Председатель редакционного совета этого издания – Егор Александрович Исаев, в числе других членов совета – и я. С выходом первых томов в 1994 году была устроена «шикарная» презентация в гостинице «Космос» около станции метро «ВДНХ». И вот поздно ночью, в ожидании машины, чтобы отправиться домой, мы сидим с Егором одни за столом, в огромном зале – и еще только несколько человек неподалеку. Поднимается Егор с места, с бокалом в руке, обводит отсутствующим взглядом стол и громко обращается к пустым стульям: «Товарищи! Сегодня мы много говорили о великой русской литературе. Это литература...» Мне жутковато стало. Около трех часов ночи, все товарищи и господа давно разъехались, одни мы за столом в огромном, почти безлюдном зале... Но вскоре, сидя в машине, Егор Александрович был уже самим собой, щедро, кра-

сочно философствуя, бодря шофера энергичными присказками, оставляя нам заряд своего красноречия и на обратный путь – от Переделкина ко мне на Юго-Запад.

Но вернусь к его юбилею, в мае 2001 года. Был он сперва в Государственной думе – куда пускали по спискам, а потом на окраине Москвы – в поселке Сходня, в Российской Международной академии туризма, где его щедро одарили и морально и материально. На банкете по его просьбе я должен был выступить в числе первых. И вот он, сам объявляя о моем выступлении, начал негодовать на тех, кто «преследовал Лобанова» за его статью «Освобождение». Было как-то трогательно слышать это: мне показалось, что он и сам забыл о своем участии в том «обсуждении»... – а может быть, искренне считает, что все прошлое – чепуха, как те пустые стулья на презентации. Но, глядя на Егора, сидевшего во главе стола рядом с Михаилом Алексеевым, я вдруг, шпоря свою речь, находил все-таки слова нужные, искренние, а потом, уже сидя, с грустью почему-то подумал, как быстро пронеслась наша жизнь и сколько этих юбилеев мешается ныне с похоронами.

В. Ф. ШАУРО. Бывшие заведующие отделами ЦК КПСС – культуры В. Ф. Шауро и отдела пропаганды Б. И. Стукалин после появления моей статьи «Освобождение» написали докладную записку в секретариат ЦК КПСС с осуждением этой статьи. В. Шауро я увидел в лицо только раз в жизни – перед отпеванием Леонида Максимовича Леонова в храме Большого Вознесения, 10 августа 1994 года. О Шауро я раньше слышал, что он «великий молчальник», всегда уходил от общения, разговоров с писателями. И здесь, у паперти, он стоял особняком, приглядываясь, видимо, к необычной для него обстановке. В храме я оказался рядом с ним, простояв недолго, он как-то незаметно вышел.

Б. И. СТУКАЛИН. С Борисом Ивановичем Стукалиным я познакомился на квартире Л. М. Леонова в начале девяностых годов, где собрались близкие Леониду Максимовичу люди, которых он хотел видеть в качестве хранителей своего литературного наследия. Выйдя потом на улицу, мы прошлись немного вместе, на ходу поговорив кое о чем (помнится, он сказал мне об отсутствии «стратегии» у Ельцина), я отметил мысленно, видя воочию вчерашнего зав отделом пропаганды ЦК, как была важна наверху, для того же Ю. Андропова, в подборе кадров «русская мягкость». После этого Стукалин звонил мне, очень просил в качестве редактора поработать с Леонидом Максимовичем над рукописью его «Пирамиды». Было видно, с каким пиететом Борис Иванович относится к патриарху русской литературы. И этому он остался верен и впоследствии, когда, уже после смерти Леонова, взял на себя основное бремя по организации его юбилея в мае 1999 года – столетия со дня рождения писателя. «Демократическая» власть устранилась от юбилея, не дала ни копейки, и Стукалина, пользуясь прежними связями, пришлось «шапочно» добывать деньги.

Перед торжественным заседанием мне, как члену юбилейного комитета, сказали, что я должен сидеть в президиуме. Вот уж чего мне не хотелось! Но вдруг я вспомнил, по книге Фейхтвангера «Москва. 1937 год», как в том же Октябрьском зале Дома Союзов, где будет торжественное заседание, проходил в 1937 году процесс над троцкистами, и я тут же решил: «Ну конечно же, сяду в президиум!» Сидеть на той же самой сцене, на том же самом месте за столом, где сидел Вышинский, допрашивая скученных напротив на скамье подсудимых, всех этих радеков-пятаковых – крестинских-раковских, а перед этим, в 1936 году, – зинovieвых-каменевых, а позже, в 1938 году, – бухариных, прямо-таки огромное удовольствие сулила мне возможность представить это! И, признаюсь, пока шло заседание, мысли мои были заняты тем славным временем, когда загнанную в этот угол перед сценой троцкистскую банду настигло справедливое возмездие.

После заседания ко мне подошел Стукалин и, заговорив о моем интервью в газете «Советская Россия» в связи со столетием Леонова, несколько смущенно сказал: «Крепко Вы по н и м ударили». «И Вы по м н е в свое время тоже», – подумал я, но сказал другое, повторил сказанное в газете: о его решающей роли в устройстве леоновского юбилея.

* * *

На заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР, на котором была обсуждена моя статья «Освобождение», я не получил приглашения и о выступлениях на этом заседании узнал из короткого отчета о нем в «Литературной России» от 25 февраля 1983 года. Выступавшие в большинстве как бы отрабатывали идеологической бдительностью свои должности, премии, их речи не отличались силой убеждения. Это очевидно даже для стороннего, объективного наблюдателя. Уже цитированный мной немецкий исследователь Дирк Кречмар пишет в своей книге: «Ввиду того, что сам генеральный секретарь выразил неудовольствие статьей Лобанова, СП РСФСР должен был так же четко отреагировать на нее. 8 февраля 1983 года, то есть уже через четыре месяца после публикации, секретариат правления СП РСФСР созвал специальное совещание для обсуждения статьи Лобанова. Несмотря на то, что все секретари правления отдавали себе отчет в политическом идеологическом размахе лобановской статьи, их речи оставляли впечатление скорее беспомощности и неуверенности».

Приведу мнение и нашего отечественного талантливой критика, главного редактора журнала «Кубань» Виталия Канашкина, который опубликовал в этом журнале (№ 10, 1990) без сокращений текст обсуждения моей статьи на секретариате правления СП РСФСР и там же писал: «Уровень суждений и представлений в статье М.Лобанова оказался таким, что после «Освобождения» сочинять и размышлять так, как это делалось до ее появления, стало невозможно». Это, конечно, большое преувеличение достоинства моей статьи, так же, как и слишком суровы, по-моему, слова критика о выступлениях писателей: «Мы как бы открываем комод, из которого на нас пышет нафталином и залежалым тряпьем. Ощущение возникает «обрыдлое». Но такое, от которого никуда не деться. Ведь перед нами не кто иной, как мы сами».

Такой же «залежалостью» веяло и от обсуждения статьи в Московской писательской организации. Автор книги «Счастье быть самим собой» В. Петелин с подкупающим простодушием признается, как он готовился выступать там на парткоме в поддержку некоторых положений моей статьи, но не решился этого сделать из-за запрета начальства.

Статья «Освобождение», ставшая предметом критики самого генсека Андропова, вызвала отклики и за рубежом – от Америки до Японии. Один из таких откликов – присланная мне рецензия в японской газете «Асахи» (тираж 10 миллионов экз.).

Все связанное со статьей пережитое стало моим освобождением от литературной личности. И я надолго замолк, испытывая какое-то странное умиротворение. Хорошо, что все-таки все кончилось благополучно. Теперь я могу уйти в себя, жить посмиреннее и помудрее, без писательского суесловия. Мне и до того было противно всякое выставление себя напоказ, я не понимал никогда, как можно упиваться на сцене «славой», «известностью» перед массой публики, которая через какие-нибудь два-три часа вывалится из зала на улицы и рассеется по городу, занятая своими заботами.

Летом, в августе 1983 года, умер Анатолий Васильевич Никонов. Ушел человек, с которым была связана, можно сказать, весенняя пора моей литературной жизни – «молодогвардейская». С его смертью уходила в прошлое часть самого меня. После похорон на Кунцевском кладбище мы собрались на поминки в здании издательства молодежных журналов на Новодмитровской, где он работал. Я сидел рядом с его сыном, изредка мы переговаривались с ним, не упоминая имени его отца. Если бы я знал, что его ожидает в будущем. Его найдут зимой замерзшим на улице и таким окоченевшим, что нельзя было нормально уложить в гроб. Было в этом что-то роковое для Анатолия Никонова с его драматической, в сущности, судьбой в катастрофическое для России время.

На поминках, помнится, поэт Владимир Фирсов начал читать свое стихотворение, наступало то оживление с растущим празднословием, которое как-то не ложилось в мою уже свыкшуюся с безмолвием душу, и я тихо покинул эту тризну.

Шли годы, и случилось то самое, что предсказал саратовский писатель Василий Кондрашов, – через несколько лет, пусть не пять, а немного попозже – через шесть лет отношение к моей статье стало совсем другим. В. Кожин в своей статье ««Позиция» и понимание» («Литературная Россия», 28 июля (№ 30), 1989) писал: «В «Литературной России» (№ 24, 1989) появилась информация о том, что саратовские писатели отменили свое давнее «решение», которое «осуждало» публикацию статьи Михаила Лобанова «Освобождение» в № 10 журнала «Волга» за 1982 год. В сущности, «решение» это отменено самой жизнью, и очень многие литераторы ныне ясно понимают, что та статья Михаила Лобанова – одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие «застоя»... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости оттого, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромиссный голос – хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно...»

Ст. Лесневский писал в «Литературной газете» (27 января 1988 года): «У нас не прозвучало полного признания того, что мы совершили большую ошибку, учинив разгром памятной статьи М. Лобанова в «Волге». Между тем сейчас, перечитывая статью, мы находим в ней немало справедливого, точного. Не должна возникнуть такая ситуация, когда одно направление пытается доказать власти, что противоположное направление является врагом нашего строя. Эта ситуация находится вне морали и вне культуры».

Выступивший на VII съезде писателей РСФСР, в декабре 1990 года, В. Бондаренко говорил: «Но давайте не забывать, что это на российском секретариате громили не так давно наши уважаемые секретари Михаила Лобанова за его знаменитую статью. Мы хоть повинились перед ним? Нет... Я думаю, все называемые секретари, сидящие здесь, должны лично на съезде извиниться перед Михаилом Петровичем Лобановым» («Литературная Россия», 21 декабря 1990 года).

Из всех названных секретарей извинился только один из них – руководитель СП РСФСР С. Михалков. В связи с этим в своем кратком слове на съезде я сказал: «Я не думал выступать на съезде, но, видимо, будет невежливо, если я не скажу несколько слов по поводу одного выступления. Я имею в виду выступление Сергея Владимировича Михалкова. Здесь, на съезде, он принес мне извинения за свое выступление на секретариате Союза писателей РСФСР в феврале 1983 года, когда после решения секретариата ЦК КПСС подверглась разному моя статья «Освобождение» в журнале «Волга». Мне хотелось бы услышать от секретариата СП и извинения перед Николаем Егоровичем Палькиным, снятым тогда же с поста главного редактора «Волги» за публикацию моей статьи. Тем не менее извинения Сергея Владимировича – своеобразный аристократизм на фоне литературно-критического плебейства многих участников того судилища» («Литературная Россия», 28 декабря 1990 года).

В своем слове я счел нужным сделать акцент на следующем: «Характерно, что большинство громивших «Волгу» за мою статью – русские, полтора десятка секретарей СП, лауреатов. Альберт Беляев слушал их и потирал руки от удовольствия: вот русские дураки, – бьют своего, лежачего. Это не в диковинку. Этим методом пользовались, пользуются политики... Сейчас левые радикалы испытывают явное затруднение, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и потому они стремятся использовать русских, и те идут на это» (там же). Но это уже та проблема, которая требует особого разговора.

В начале июня 2000 года по просьбе Михаила Николаевича Алексева я поехал с ним в Саратов по случаю вручения лауреатам премии его имени. Местные писатели вспоминали ту давнюю историю с моей статьей, расхваливали меня, дарили книги. Во время плавания на

катере по Волге мой визави по застолью поднял меня с места, подвел к борту и, вспоминая то писательское собрание по поводу моей статьи, начал вдруг выкрикивать в мутном вдохновении: «Мы слабаки! Трусы! Подлецы!» Чего мне оставалось делать, как не успокаивать его.

После поездок по городу, встреч нас принял губернатор области Д. Аяцков. Он вышел к нам навстречу, как только открылась дверь кабинета, торжественно обнял своего знаменитого земляка. Сели за большой стол, Алексеев – напротив губернатора, и началась беседа. Тут слушавший писателя с какой-то разогретой, понимающей улыбкой Аяцков воскликнул: «Этот подонок N1» Только позже, выйдя из губернаторского кабинета, спускаясь по лестнице, я сказал: «Не надо бы так резко об И.» – заметив тут же, как внимательно посмотрел на меня шедший рядом молодой человек, видно, из администрации губернатора.

Пока шел разговор, у меня возникла мысль воспользоваться случаем, чтобы чем-то помочь местным писателям. И я обратился к Аяцкову: «Дмитрий Федорович, Вам известно, что в некоторых областях России писателям выделяются ежемесячные пособия. Нельзя ли то же самое сделать у вас? Это было бы знаком отеческого внимания к нуждающимся писателям!»

– Отеческое внимание есть, но не всегда есть возможность реализовать его, – отпаривал хозяин кабинета. – Вот мы помогаем артистам филармонии.

– Ну какое может быть сравнение исполнителей с писателями?

– Я – не против, – заключил Аяцков. – Пусть руководитель саратовских писателей сделает мне соответствующее представление.

Замечу, что сразу же после этого, при вручении премий, чтобы придать гласность обещанию губернатора, я в своем выступлении с трибуны перед публикой остановился на обещанных пособиях. И потом, в разговоре с секретарем местной писательской организации Иваном Шульпиным, присутствовавшим на нашей встрече с Аяцковым, просил убедительно в списке кандидатов поставить первым Кондрашова Василия Павловича. Он был единственным из саратовских писателей, кто вступился за меня, когда там, по команде из Москвы, трепали меня в феврале 1983 года за злополучную статью. Так хотелось мне отблагодарить Василия Павловича за поддержку, за благородное поведение – и был уверен, что сумел это сделать, когда решился вопрос о пособиях. И что же? Впоследствии узнаю, что ежемесячное пособие получили пять саратовских «классиков», Кондрашов же в список не попал. А ведь о нем я больше всего думал, когда пробивал вопрос об этих пособиях.

Я благодарен Михаилу Николаевичу за поездку на Саратовщину, особенно – в его родное село Монастырское. Когда мы, приехав туда, ходили по улицам и окраинам, я узнавал все описанное в его книгах – Вишневы омут, сад деда, другие места его детства. Здесь мне как-то виднее стал этот человек, ранее смущавший меня порою уклончивостью в поступках, крестьянским «себе на уме» при своих, конечно, качествах самородка, мудрости житейской. Здесь, в родных его местах, он понятнее мне стал как автор «Карюхи», «Драчунов» – выношенных им в глубине сердца, написанных рукой художника. «Я писал «Карюху» здесь, в Монастырском, в избе зимой, написал за два месяца», – сказал он мне и добавил, что хорошо бы нам с ним приехать сюда вдвоем. Он посетовал не в первый раз, что кому-то надо было поссорить нас, распустить слух, что будто он, Алексеев, топтал меня за статью, но это – ложь. И не в первый уже раз вспомнил, как из-за моей статьи отменили уже решенное было дело – присуждение ему за «Драчунов» Ленинской премии. А ведь в самом деле, подумал я, человек пострадал из-за меня, а вроде чувствует себя чем-то виноватым передо мной – что за странная русская черта!

С особым чувством отправился я на кладбище, которое в моем представлении было связано с теми картинами в «Драчунах», когда сюда свозили и хоронили в ямах умерших от голода. Но никаких признаков тех могил здесь не оказалось. Только редкие островки могил поздних с большими деревянными крестами жались к краям огромного кладбищенского

пространства с переливающимися от пронзающего холодного ветра ковыльными травами. Такого кладбища я не видел, весной с разливом, как мне рассказали, вода заливает всю околкладбищенскую низменность, и тогда в открывающейся красоте чего может быть больше – призрачного или – врачующего для людской памяти?

Журн. «Наш современник», № 2–4, 2001

Твердыня духа¹

Биограф Серафима Саровского Н. А. Мотовилов оставил пронзительный рассказ о том, как слова старца заставили его, долгие годы лежавшего с неподвижными ногами, встать и пойти.

А вот любопытное место из книги «Воспоминания о Югове» (сборника воспоминаний разных лиц о писателе). Поэтесса, по ее словам, «обезноженная» болезнью, рассказывает о таком случае: однажды писатель Алексей Югов, врач по профессии, в разговоре «протянул ко мне руки, быстро и повелительно сказал: «Встань-ко! – и засмеялся. – Знаю, знаю, что не поднять, а хотелось бы!»

Вот в этом и отличие, пропасть между словом истинно духовным и литературным. В первом случае слово становится действием; во втором – словесностью.

Ныне причисленный Русской Православной Церковью к сонму святых епископ Игнатий (Брянчанинов) писал: «Бывали в жизни моей минуты или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем «слово». Это «слово» было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленной жизни и радости – и потом отходило. Случалось записывать мысли, которые так ярко светили в сии блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова, из какой-то высшей среды нисходившие и остающиеся наставлением». По этой причине святитель считал, что его наставления – собственность не его личная, а всех верующих. По слову одного из отцов Церкви, Бог – это центр круга, чем ближе мы с точек окружности к этому центру приближаемся, тем более сближаемся друг с другом. Выступавший перед нами епископ Никандр бескомпромиссно противопоставил вертикальную линию самопознания – связь с Богом – горизонтальной – связи с культурой, не допуская абсолютно никакой возможности их взаимопроникновения. Другие выступавшие из числа литераторов, защищая культуру, видят в ней проводника божественной просветленности. Конечно, «дух дышит где хочет». И этой божественной просветленности в Пушкине неизмеримо больше, чем в его оплошном критике Владимире Соловьеве (Пушкин – не «философ»!), в богословских рационалистических построениях «всеединства» этого философа, в его премудрой «Софии». «Мысли о религии» Паскаля больше и глубже, может быть, дают почувствовать присутствие благодати в душе человека, нежели фундаментальные логические доказательства бытия Божия в богословской системе Фомы Аквинского. Или хотя бы из малых нынешних примеров. Поистине дар Божий в стихах Н. Рубцова, не искушенного в духовной эрудиции. Но вот ученейший филолог, знаток раннехристианской истории С. Аверинцев, он же автор мертвых «духовных стихов» в «Новом мире».

И все-таки культура, даже и с благодатными признаками, непомерно далека от религии. Духовно проникновенны пушкинские «Отцы пустынноики и девы непорочны», но верующие обращаются будут к самой молитве Ефрема Сирина, а не к этому поэтическому, пусть и гениальному, ее переложению. Трогательна лермонтовская «Молитва» с ее «есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них». Но этой, как бы нечаянно сказанной, «прелестью» и бесконечно далеко это стихотворение от молитвы. Этой прелести было много в русской литературе, хотя один из западных писателей и назвал ее «святой». Агиографические сборники свидетельствуют, что святые, подвижники приходили к вере в результате духовных переворотов, внутренних прозрений, таинственных оза-

¹ Из выступления на состоявшейся в конце 1990 года в Италии на Капри конференции, посвященной религиозно-культурным проблемам.

рений. Но странно было бы фантазировать, что это могло быть под влиянием художественной литературы.

Более того, русская литература в лице даже ее гениев уводила от истинного центра круга. Есть что-то символическое в жуткой одинокой могиле Толстого на краю оврага в Ясной Поляне. Великий писатель сам отделил себя от православного кладбища (на котором похоронена и его жена, Софья Андреевна), от православного народа, но кто больший авторитет в оценке церковного отпадения Толстого? Святой Иоанн Кронштадтский, не пожелавший быть с «богоотступником» в почетных членах ученой корпорации, или либерально-радикальная интеллигенция, славословившая Толстого за его обличение Православной Церкви?

Философствующая интеллигенция и сама внесла немало духовной смуты. Сейчас говорят о возвращении к нам русских религиозных мыслителей, пишут о «религиозном ренессансе» десятых и даже начала двадцатых годов. Не говоря уже о том, что само определение «ренессанс» понятие гуманистическое и скорее противостоит религии, чем связано с нею, философские искания десятых годов несут на себе отпечаток религиозного модернизма. В отличие от классического славянофильства (И. Киреевский А. Хомяков, К. Аксаков) с его соборностью, традиционным Православием религиозный «персонализм» русских мыслителей начала XX века не лишен антихристианских черт. Творчество религиозной мысли Бердяева сдержано в плодотворности его релятивизмом (в одном ряду с Христом у него Сократ, Магомет, Будда, Конфуций и т. д.). Гениальный умственный змий В. Розанов, как ядовитая капля химического реактива, неустанно долбил, подтачивая, разрушая самое ядро христианства, видя в Христе врага жизни, столь любезной Василию Васильевичу ветхозаветной иудейской плодovitости. И об этом ни слова в тех дифирамбических статьях об этих двух мыслителях, которые охотно печатаются в нынешних газетах и журналах.

Примечательно, что степень интереса, сочувствия к дореволюционным мыслителям прямо пропорциональна их отчужденности от «ортодоксального Православия». Например, более, чем другие, связанные с ним С. Булгаков, И. Ильин уже не вызывают такого понимания, как те же Бердяев и Розанов. Но зато модным именем для либеральных, леворадикальных изданий стало имя Г. Федотова, который уверял, что идеи «черной сотни», как «русского издания или первого варианта национал-социализма <...> переживут всех нас», который за «православным самодержавием, то есть за московским символом веры <...> легко различал <...> острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам». И это было написано находившимся в эмиграции в США Г. Федотовым в 1945 году, после окончания войны России с гитлеровской Германией. Не потому ли столь близок этот мыслитель либералам, что в нем можно видеть родоначальника тех лозунгов об «опасности русского православного фашизма», который сейчас в ходу как у нас в стране, так и за рубежом?

У нас всегда было слишком много учителей из среды писателей, которые в прошлом объявлялись «апостолами», «пророками» из одной только оппозиции существующему строю, «официальной религии». Художник Нестеров в своей картине «Душа народа (На Руси)» среди сонма лиц, олицетворяющих исторический, духовный, путь русского народа, изобразил рядом стоящими Достоевского, Толстого и Вл. Соловьева – в качестве религиозно-духовных выразителей Руси. Вот уж поистине «лебедь, рак и щука» – православный, религиозный бунтарь и философствующий мистик. Достоевский не ведет, он идет вслед за Христом и в этом сливается с христианским народом Руси. Эти же двое заявляют о себе как «обновители» христианства, и либеральная интеллигенция создает вокруг этих «исканий» такую «пророческую» репутацию, что даже такой, в общем-то, православный художник, как М. Нестеров, оказывается в ее власти. Перед идолищем «научного сознания» теми же прогрессистами объявляются «юродивыми» Гоголь, Достоевский, ретроградами – такие писатели традиционной веры, как Гончаров, Островский. Александр Николаевич Островский

отвечал тем, кто отделял себя от Церкви, от народной веры: мы «не должны чуждаться его (народа) веры и обычаев, не то не поймем его, да и он нас не поймет».

Мы привыкли судить о России, ее истории по литературе, по книжным героям. О войне 1812 года – по «Войне и миру», о железнодорожном строительстве – по стихотворению Некрасова «Железная дорога», о Дальнем Востоке – по каторжанам чеховского «Сахалина» и так далее. Литература, собственно, закрыла реальную Россию. Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия через Сибирь, был в восхищении от знакомства с тамошними людьми, начиная от таких «крупных исторических личностей», «титанов», как генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. И. Муравьев-Амурский, совершивший немало «переворотов в пустом, безлюдном крае», как архиепископ Иннокентий (Вениамин), издавший алеутский букварь, возглавивший огромную просветительскую работу среди местных племен; открыватели северных путей, хлебопашцы, купцы, инженеры, охотники, чиновники, военные, в деятельности которых «таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности молчат». Тогда же, в пятидесятых годах XIX века, развернулась историческая деятельность на Дальнем Востоке И. Невельского, который был не только замечательным моряком и крупным исследователем, но и человеком государственного ума, с именем которого связано присоединение к России огромных пространств Приамурского и Приуссурийского края. Героической была жизнь не только самого Невельского, но и жены его Екатерины Ивановны, женщины удивительно самоотверженной и милосердной.

Подобные подвиги созидания не нашли места в литературе, оказалась невидимой, как подводная часть айсберга, исторически деятельная сторона русской жизни. И сам Иван Александрович Гончаров, возвратившись в Петербург, занялся совсем не тем, что он увидел в Сибири, – Обломовым, лежащим на диване.

И другая, столь же деятельная сторона русской жизни – молитвенная – оказалась вне литературы. О современнике Пушкина Серафиме Саровском тогдашняя словесность вряд ли что и слышала.

С исторической Голгофы, с высоты исторического опыта всего пережитого нашим народом в XX веке отрезвляется наш взгляд на прошлое, его культуру, открываются глубинные, истинные духовные ценности.

С объявленной сверху «перестройкой-революцией» литература захлебнулась в общественных страстях и раздорах. Да что там литература! Оказались втянутыми в раздоры – страшно молвить – сами Церкви, и, что особенно прискорбно-для нас, русских, – Русская Православная Церковь и Русская Зарубежная Церковь, которая открывает в стране свои приходы. Церковь – это, конечно, не только ее служители, высшие иерархи, а нечто более вечное и нетленное. И, если можно так выразиться, – нынешние общественные немощи ее коренятся в нас самих. Наш епископ рассказал мне о своем разговоре с известным русским писателем, который наставлял его и через него священников, Церковь: «Вы должны духовно возрождать народ». Владыка на это отвечал: «Не вы, а мы. Церковь – это все мы, не только священнослужители. От каждого зависит, будет ли духовное возрождение».

Еще недавно писатели, поэты любили говорить о себе, что они «за все в ответе». И выходило, что отвечали за все и ни за что. Ныне этим демиургам более пристало быть в ответе не за всех и за все на свете, а прежде всего за себя. Как говорил в старинное время один благородный человек в ответ на монаршее пожалование: куда мне с ними, с тысячью душ, справиться, когда я не справляюсь с одной, своей собственной душой? И уже не так сейчас диковаты, как прежде, для нас гоголевские слова, что писателю сначала надо образовать себя, а потом писать книги.

«В начале было Слово». Слово – Логос, Бог. В советской литературе А. Твардовский перекладывал на стихи определение слова, данное вождем: «Нет, слово – это тоже дело.

Как Ленин часто повторял». Ах как лестно для литератора, что сказанное им слово – уже дело. Сколько наказано, наговорено, заболтано; а где наши дела, где плоды наших слов? И кого же мы обманывали, когда говорили не то, что думали, когда видели одно, а писали другое, когда слова были одни, а дела другие? И в кризисе, катастрофе страны – не повинна ли и наша славная литература, с ее разрывом между словом и готовностью отвечать за него, обеспечивать его нравственно?

И сейчас не суетно ли наше слово? Нынешние писатели приохотились выступать по телевидению – так сказать, по чину литературного Мелхиседека. Правда, еще Гоголь говорил, что не священник к нам, а мы к нему должны идти. Так и сочинитель: лучше бы читатели шли к его книгам, нежели ему самому навязываться с «проповедями».

Как когда-то, совсем еще недавно, наша литература бодро маршировала в коммунистическое будущее, так ныне она совсем пала духом, бедняга. В отношении народа модным стало слово «выживание» – «гнусный неологизм», более подходящий для крыс, животных, чем для людей, по справедливому замечанию нашего соотечественника Е. А. Вагина (вынужденно эмигрировавшего после отбытия восьмилетнего срока в мордовских политических лагерях и ныне проживающего в Риме). Уныние – великий грех, тем более когда оно распространяется на народ. Не «выживание», а данное нам свыше испытание по делам нашим, а испытывается, видимо, тот, кто имеет для этого силы.

Собственно, испытывается-то наша тысячелетняя вера. И как старая интеллигенция, пренебрегая ею, впадала в модернистские религиозно-философские блуждания, так нынешние «интеллигенты первого поколения» забавляются своими «исканиями», от неоязычества до йогорерихизма. Но, например, исихазм породил Сергия Радонежского, великие духовные силы русской литературы, культуры, а какая-нибудь «пассионарность» – всего лишь ее автора, Л. Гумилева. Все-таки есть пропасть между сущим и мнимым. Недаром в Новом Завете говорится о «Божьих глубинах» и о «так называемых глубинах сатанинских». Заметьте, «глубины сатанинские» – «так называемые», то есть мнимые, при всей изощренности их, так сказать, структур.

В литературе сейчас главным мне видится кристаллизация духовной жизни народа, все-таки несомненной при всем ужасе действительности. Но здесь силен искус стилизованности, в том числе православной, что приводит иногда писателя к неожиданным метаморфозам. Мне рассказали, как один наш исторический писатель с православными замашками во время приема в Ватикане советской делегации, в связи с тысячелетием Крещения Руси, бухнулся в ноги папе римскому. Не думаю, что спутал папу с нашим патриархом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.